ЛЕВ СЛАВИН

ИЗБРАННОЕ

Лев Славин

Наследник

1930

Славин Л. И.

Наследник / Л. И. Славин — 1930

К началу Первой мировой войны Лев Славин успел окончить гимназию, но курс обучения в университете оборвала мобилизация в действующую армию, в которую он был призван в качестве вольноопределяющегося. После окончания боевых действий был демобилизован в чине помощника командира роты по строевой части. В 1918 году вступил в ряды Красной Армии. Именно эти события и были положены в основу романа «Наследник», где главный герой после долгих идейных исканий приходит в лагерь революции.

© Славин Л. И., 1930

Содержание

1 6
2 12
3 15
4 25
5 32
Конец ознакомительного фрагмента. 36

Лев Славин
Наследник

С. Н. Славиной

1

Поручика Третьякова я узнал слишком поздно. Поручик плотен в талии. Кривоватые ноги его затянуты в щегольские лаковые сапожки. Есть в нем какая-то ненатуральная стройность, как будто он только притворяется стройным, а на самом деле вихлястый рассыпчатый человек.

То же притворство лежит на его лице. Есть лица, по которым узнаешь не только характер человека, но и события его жизни. Лицо поручика Третьякова открывает, что он начал кражей серебряных ложечек из маминого комода, был изгнан из четвертого класса гимназии за дурную болезнь, не допускался в семейные клубы за чрезмерное счастье в карточной игре. Взятки и спекуляции обозначаются на его лице с такой отчетливостью, что удивительно, как же не видят этого другие, особенно женщины, которые любят его много и самоотверженно.

Кроме того, поручик Третьяков носит на шашке кожаный *темляк,* значение которого мне объяснили товарищи, как только я вступил в полк. Случилось это в 1916 году, в третью зиму великой европейской войны. В августе призвали восемнадцатилетних.

Я получил от воинского начальника повестку, где было сказано, что «Сергею Николаевичу Иванову надлежит явиться 15 сего сентября в воинское присутствие для медицинского освидетельствования на предмет зачисления в ряды войск, согласно приказу его императорского величества…».

Дед мой, Израиль Абрамсон, у которого я тогда жил, чрезвычайно расстроился. У этого крепкого и вспыльчивого старика была натура нежная и паническая. Он боялся крови, похоронных процессий, выстрелов, открытого моря, сквозняков, женских слез, понедельников, он отвергал все это и жил в мире приятного, созданном его воображением. Но повестка воинского начальника лежала на столе, и старик не осмеливался прикоснуться к ней, к яду этих холодных слов.

Было решено, что возлюбленный сын его единственной дочери пойдет к доктору. Не может быть, чтобы дитя было здорово, чтобы в его небольшом теле не нашлось какого-нибудь недуга – сердечной болезни, или пупочной грыжи, или самого легкого смещения печени. А так как старик боялся докторов, со мной пошла бабушка моя Идес Абрамсон.

– Ребенок слаб, – сказала она, треща праздничным корсетом, – прошу вас, осмотрите хорошо его организм.

Доктор посмотрел на мою грудь гребца и попросил меня побегать вокруг стола. Я побежал, отставив локти и выкидывая колени, как учили меня в гимнастическом клубе «Турн-Феррейн». Я бежал, испытывая ту особенную летучую радость бега, какая знакома каждому легкоатлету. Доктор остановил меня движением стетоскопа.

Он выслушивал меня, настойчиво стуча согнутым пальцем по ребрам, как человек, которому долго не открывают двери. Он мял холодными пальцами мое обнаженное тело с упорством, от которого мне становилось стыдно. Он ползал по мне, искал болезнь, вызывал ее, как заклинатель, вверху, внизу и посередине.

– Смотрите хорошенько, доктор! – просила бабушка, всхлипывая. – Его покойная мать Сарра умерла от чахотки, у нее была гнилая кровь, моя кровь…

– Вы забываете, – сказал доктор, умывая руки, – что ваша дочь смешала свою кровь с кровью Николая Алексеевича Иванова, человека сильного, с превосходным аппетитом.

Он обменялся с бабушкой небрежным рукопожатием, вполне достаточным, впрочем, чтобы перехватить десятирублевую бумажку.

– Боже мой, – говорила старуха, когда мы возвращались домой, – как я скажу твоему дедушке, что ты совершенно здоров?…

Действительно, дедушка пришел в бешенство. Он не пошел в тот вечер в клуб «Торговцев и ремесленников» для своей обычной партии в стуколку, а все ходил по комнатам и громким голосом проклинал моего отца. Подлость этого человека, как видно, не имеет границ! Разве можно перечислить все обиды, которые перенес он, Израиль Абрамсон, от этого нищего дворянина? Бродяга, голоштанник, он выманил у Абрамсона деньги, увлек его дочь, обратил ее в православие, вогнал в могилу, сам застрелился и вот, точно мало ему, продолжает пакостить из могилы, передав сыну свою грубую натуру христианина!

Присев за письменный стол, старик в тот же вечер написал письмо моему другому деду, с отцовской стороны графу Шабельскому, который губернаторствовал в Пензе.

«Пусть Вам будет известно, – писал он почерком рондо, с которым обращался только к наиболее почтенным заказчикам, – пусть будет Вам известно, что Сереженьку призвали в армию. Между тем достаточно одной записки Вашего превосходительства, чтобы ребенка зачислили в зубоврачебную школу или в музыкальное училище, которые дают освобождение от военной службы. Жена моя Идее и я шлем привет Вашей почтенной супруге, ее сиятельству Марфе Егоровне».

Граф Шабельский ответил с поспешностью, которая растрогала всех:

«Печальная участь, грозящая сыну моего незабвенного Nikolas, наполняет меня ужасом. В нехороший час мы подняли оружие. Скажите Сергею, что ему там нечего делать. Сидеть в окопах и строчить, как швейка, из пулемета – это не дворянское занятие, дорогой Израиль Маркович! В расходах прошу вас не стесняться. Я бы и сам примчался к вам, если бы не то, что обожаемая моя супруга, графиня Марфенька, готова каждый день разрешиться от бремени. Преклонные годы мои сообщают этому событию характер почти научного открытия. При сем прилагаю письмо к полицмейстеру вашего города, капитану Садовскому. Обратитесь к нему: пройдоха Садовский непременно найдет способ вызволить Сережу. Графиня пожелала приписать несколько слов. Болезнь и волнения сделали нетвердой руку ее сиятельства».

Несколько строк невероятных каракуль извещали, что графиня «молица за дарогово Сереженьку и целует ево нещетно…».

За семнадцать лет брака графиня Шабельская, ранее купеческая вдова Бабакина, не могла овладеть грамотой. Графу Матвею Семеновичу это только нравилось. Он находил отраду в том, чтобы шокировать свою среду манерами Марфы Егоровны. Ему доставляло удовольствие наблюдать, как люди его круга угодничают перед безграмотной миллионершей. Он видел в этом новое доказательство для своего искреннейшего убеждения, единственного, которое он имел во всю жизнь, – убеждения в низости человеческой природы. Странно, что такая мелкая идея овладела этим неглупым человеком, но он веровал, что люди подлы, и доказал это личным примером, женившись после разорения на богатой вдове, польстившейся на его титул. Если не считать французских рационалистов XVIII столетия и охотничьих собак, мой несчастный отец был самой крепкой его привязанностью. В беспутных судьбах этих двух людей находили много схожего. Привязанность эту унаследовал я, и Матвей Семенович впрямь приехал бы сейчас, несмотря на свои шестьдесят девять лет, если бы не роды жены, которых престарелый граф ожидал с ребяческим любопытством. Через несколько дней телеграмма известила нас о рождении графини Анны, названной так в честь христианского имени моей покойной матери. Я узнал в этом каверзную натуру Шабельского, который не постеснялся взволновать стариков Абрамсонов напоминанием о дочери.

Между тем дедушка Абрамсон уже успел побывать у полицмейстера. Однажды утром он надел новый цилиндр и предложил мне пойти погулять.

– Граф Матвей Семенович, – сказал дедушка, когда мы вышли, – писал мне, чтобы я с полицмейстером не торговался, – расходы он берет на себя. Мне смешно. Неужели он думает, что мы тебя любим меньше, чем он? Скажи, дитя, – взволнованно сказал старик и взял меня за подбородок, – тебе было бы приятней, чтоб кто дал взятку: граф или я?

– Вы, дедушка, – сказал я уныло.

Старик успокоился.

– Но все равно, – сказал он со вздохом, – некому давать. Сенаторская ревизия уволила капитана Садовского, а новый полицмейстер не берет взяток. Он не будет их брать еще не менее двух месяцев, чтобы создать себе славу неподкупности и тем набить цену. Конечно, человек из столицы, потребности выше.

Он остановился у парадного хода и позвонил. Тут только я догадался о цели этой прогулки, увидев на дверях табличку: «Ромуальд Квецинский, артист». Мне стало грустно.

Известный всему городу Ромуальд Квецинский не имел никакого дела с музами драмы или комедии. Он также не выступал ни в опере, ни в цирке, ни в «Театре миниатюр», ни даже в балаганах на Куликовом поле, где в пасхальные дни безголосые теноры состязались с ревматическими акробатами. Но ловкость, с какой он проделывал свои манипуляции, заслуживала какого-нибудь титула. Это были манипуляции над законами Российской империи. Грузные, нечеловечески важные, они приобретали в его грациозных руках летучесть жонглерских шаров. Мне стало грустно, ибо давно уже я чувствовал влечение к гуманитарным наукам. Я мечтал об историко-филологическом факультете, в частности об отделении древних литератур. Я любил латынь, культуру августовского века, Сатирикон, Светония. Между тем, переступив порог квартиры Квецинского, я понимал, что переступаю порог медицинского факультета, костлявого, исполненного вони.

Квецинский сам открыл нам дверь: щекотливость его дел не допускала присутствия в доме слуг. Мы увидели маленького изящного господина с лицом усталым и скучающим. Он был в смокинге, белая грудь рубахи топорщилась с важностью, необходимой при его малом росте.

Очутившись впервые в кабинете знаменитого Квецинского, я с любопытством огляделся. Тогда, в зиму 1916 года, вошли в моду предметы военного обихода. Считалось хорошим тоном иметь пепельницу в виде орудийного стакана, накрывать бумаги осколками снаряда, оправлять карандаши в ружейные гильзы. В кабинете Квецинского эта бутафория войны приобретала необыкновенные размеры. Настоящие патроны, а не только гильзы, отшлифованные, с капсюлями, в разнообразных комбинациях, образовывали чернильный прибор. Предложив нам сигары, он выстрелил в дедушку из маузера, который вдруг оказался бензиновой зажигалкой. Мы стряхивали пепел в ручные гранаты и вешали шляпы на штыки. Всюду валялись орудия смерти, обезвреженные, прирученные. Портрет царя в солдатской фуражке висел на стене среди винтовок – германских, австрийских, японских. За всей этой воинственной обстановкой едва различим был маленький рояль розового дерева. Квецинский был пристрастен к сентиментальным романсам (Мендельсон, Гречанинов) и исполнял их достаточно хорошо, чтобы выступать на благотворительных вечерах в пользу раненых воинов, – разумеется, без всякого гонорара, единственно, из патриотического порыва.

Дедушка опустился на стул, с отвращением поглядывая по сторонам.

– Моему внуку нужно поступить на медицинский факультет, – сказал он коротко.

– Пана Сергея влечет медицина? – грациозно спросил Квецинский, не принимая делового вызова. Он любил длинные изящные беседы, полные деликатных намеков.

Но дедушка не расположен был к любезничанью. Обстановка его ужасала.

– Сколько? – спросил он нетерпеливо.

– Пятьсот, – холодно ответил Квецинский.

– Двести! – резко сказал дедушка. – Я не поставщик сапог. Не спекулянт на сахаре. Не фальшивомонетчик.

Квецинский ничего не ответил и, скучая, стал вертеть в руках безделушку в виде противогаза. Дедушка вздрогнул и согласился.

– Завтра пришлите мне следующие документы, – сказал Квецинский и начал загибать свои тонкие белые пальцы пианиста и шулера, – справку от полицейского участка о вашей нетрудоспособности, заверенную господином участковым приставом. Если пристав пану не знаком…

– Он у меня на жалованье, – сухо сказал дедушка.

Квецинский одобрительно склонил голову.

– И справку о том, что пан Сергей состоит на иждивении своего родственника – георгиевского кавалера.

– За пятьсот рублей вы сами могли бы дать кавалера, – пробормотал дедушка.

Квецинский сожалительно развел руками.

– Поверите, такой спрос! Если война продолжится еще два года, нас ждет банкротство. Да, Израиль Маркович, я предсказываю серьезный кризис на георгиевских кавалеров…

– Этот мошенник жалуется на войну, – сказал дедушка, когда мы вышли на улицу, – а между тем совсем недавно он был только шулером, да, мелким пароходным шулером, которого били не меньше, чем пять раз за летний сезон. Война убила навигацию, но она дала в руки Квецинскому его новое ремесло. К сожалению, не одни только бывшие шулера занялись такими делами. Смерть оказалась доходным предприятием, Сереженька! Кому я не перестану удивляться, так это Авичу, который поставляет солдатские иконки на передовые позиции. Я с ним уже не кланяюсь. Но разве он один? А Клячко который открыл завод для переработки костей собираемых на поле сражения? А Рубинштейн, а Перкель, а Вржещ, а Симоненко? Мне скоро не с кем будет раскланиваться в этом городе. Сто на сто уже не считается заработком, выгоняют двести, четыреста! Гибнет настоящая торговля, старая честная коммерция. Какие-то новые времена настают. Попомни мое слово, Сергей, все это кончится невиданным крахом. Твои социалисты не так уж глупы: никогда еще протест векселей не достигал таких размеров.

Так рассуждал мой дедушка, влача по солнечным улицам свою честность, как горб, и замолчал не прежде, чем мы вошли в контору, в его собственную контору «Израиль Абрамсон и К°», старое честное учреждение по экспорту хлеба, со стеклянными перегородками и ежегодным дефицитом в четыре тысячи довоенных рублей. Управляющий выбежал к нам навстречу.

– Скажите, Петя, – сказал ему дедушка, – среди наших служащих нет ли часом георгиевского кавалера?

– Как же, – ответил управляющий, поглаживая свою пышную старообрядческую бороду, – инвалид Рувим Пик, сторож склада номер семнадцать.

– Пришлите его ко мне, Петя, – сказал дедушка.

Рувим Пик явился вечером, когда мы пили чай в большой столовой. Он остановился на пороге, ослепленный великолепием этой комнаты. Огромная люстра, подражавшая семисвечнику, распространяла неяркий свет. На стенах висели варшавские, одесские и гомельские Абрамсоны (с изобретением фотографии у евреев появились галереи предков). Они струили по сюртукам свои бороды, хвастливые, как павлиний хвост. Возле каждого была жена, чистенькая старушка в шелковой наколке. Здесь совсем не было молодых лиц, кроме портрета моей матери, Анны Степановны. Фотограф поставил ее боком, и она улыбалась из-за плеча во всей своей красоте, девятнадцатилетней, дерзкой, взволнованной.

Рассказывают, что такой именно увидел ее в первый раз мой отец, когда приехал сюда в высоких болотных сапогах, со сворой гончих, будто бы отдохнуть после охоты, а на самом деле просить старика Абрамсона в третий раз переписать векселя, хотя бы под залог палисандровой гостиной – царского подарка, которому не было цены. Увидев мою мать одну в прихожей, молодой Иванов пошатнулся, – он ощутил нечто вроде удара меж глаз, ослепительный приток нежности, сжавшей ему сердце. Он едва нашел в себе силы схватить ее за руку и пролепетать что-то невнятное о ее красоте. Девушка вырвалась и убежала к себе в комнату, где провела всю ночь за дневником и телефонной трубкой, допытываясь у себя и у подруг – возможно

ли влюбиться в незнакомого мужчину чужой веры, видев его не более двух минут в плохо освещенной прихожей? Дело кончилось отчуждением палисандровой гостиной в дедушкину собственность за злостную оттяжку всех законных сроков для погашения векселей.

Имея твердое намерение поразить Рувима Пика в самое сердце, дедушка снял наконец с знаменитой мебели чехлы, которые не снимались со дня бегства дочери, проклятой стариками и не прощенной до смерти за брак с христианином. Разоблачение мебели походило на похороны, сопровождалось проклятьями, слезами, запахом валерьянки.

– Ты видишь, Сережа, – говорила бабушка, отирая пыль, – дедушка ушел. Он не может этого видеть. Он притворяется, что все в порядке. Но разве я не слышу, как он плачет во сне и молится: «Прости меня, доченька, прости меня». Бог наказал его за гордость. Ну, а меня за что?

Для Рувима Пика было придвинуто самое большое кресло. Инвалид почтительно расположил среди царских вензелей свое разрушенное тело.

Дедушка не спешил начать разговор. Он медленно пил чай вприкуску и критически разглядывал инвалида.

У Рувима Пика недоставало правой ноги. От нее осталась едва ли восьмая часть – толстый обрубок в штанине, аккуратно заколотой английской булавкой. Сабельный удар пересекал его лицо от подбородка к виску с такой силой, что глаз и ухо сдвинулись с положенных мест.

– Ну, Рувим Пик, – сказал дедушка, – вы георгиевский кавалер?

– Я георгиевский кавалер, – повторил Рувим Пик и поджал губы с видом человека, который от этого вовсе не в восторге.

– Что же, – сказал дедушка, привычно раздражаясь, – что же, я должен верить на слово?

Инвалид поспешно расстегнул ворот и откуда-то из смрадных пазух своей рубахи вытащил красивенькую бумажку с золотым обрезом, которую ему выдало правительство взамен потерянной ноги. Дедушка развернул ее Там было написано, что «рядовой 171-го стрелкового полка Рувим Пик 13 февраля 1915 года в деле под Бзурой проявил *пренебрежение к смерти,* за что награжден орденом святого Георгия четвертой степени».

– Эй, господин Пренебрежение, – сказал дедушка, – сколько ты у меня получаешь?

– Тринадцать рублей, – сказал Рувим Пик и угодливо улыбнулся.

– Ты будешь получать восемнадцать, – сказал дедушка. – Слышишь, Пик? На целых пять рублей больше.

Да, Пик слышит. Он, правда, не верит своим ушам. Он думает, что это сон или грезы, какие иногда посещают бедных людей. Пик сделал несколько шагов к столу, не переставая говорить. Он назвал дедушку водоемом добродетелей, утешением еврейского мира, он клялся в этом и призывал в свидетели весь фотографический сонм предков. Остаток ноги покачивался в такт его цветистому красноречию. В конце своей речи Пик с неожиданным коварством спросил: чем он, собственно, обязан этому ливню щедрот, пролившемуся на его ничтожную голову?

Вопрос был поставлен в упор. Дедушка, рассчитывавший, что солдат подпишет бумажку об иждивении без расспросов, покраснел от унижения и стал объяснять.

– Нет, – сказал Рувим Пик, – я не могу, хозяин!

Он отталкивал от себя документ со слепым ужасом неграмотного человека перед бумагой.

– Хорошо, – холодно сказал дедушка, – я тебя не насилую, Рувим Пик. Когда Сережу убьют на войне, я сделаю ему памятник с надписью: «Убит зверской рукой Рувима Пика».

Инвалид замахал руками и с отвращением взял перо…, Я его встретил на другой день у ворот. Казалось он поджидал меня. Он попросил у меня рубль. Я дал Через несколько дней бабушка мне призналась, что инвалид вторгается к ней в спальню каждый день и требует денег, говоря: «Вы же у меня на иждивении, вы должны мне помочь». Она дает ему деньги и выпроваживает по черной лестнице, боясь, чтобы его не увидел дедушка, который, по гневности

своей натуры, может прогнать инвалида и тем расстроить мое поступление на медицинский факультет.

– Он пьет, Сережа, – прибавила бабушка шепотом, – люди видят Рувима Пика в кабаках. Передают, что он путается с какой-то Маргаритой, которая ради денег не гнушается пускать к себе безногого калеку.

Подумать, что столько усилий было приложено напрасно! Когда в назначенный день я пришел в канцелярию университета, я, правда, нашел свое имя в списке принятых, но с пометкой; «Историко-филологический факультет». Поначалу я обрадовался, но вскоре сообразил, что не смогу насладиться прелестями филологических наук, ибо через две недели буду взят на войну. Еще больше я страшился гнева дедушки и потому целый день слонялся по городу, не без приятности играя на бильярде с моими друзьями, Володей Стамати и Володей Мартыновским.

Только поздно вечером я вернулся домой, все еще не выбрав слов, достаточно деликатных, чтобы сообщить дедушке об ужасной новости. Но старик уже знал ее. Он протянул мне письмо, полученное им от Квецинского, где артист изящно извинялся в катастрофе, происшедшей не по его вине, и возвращал пятьсот рублей за вычетом организационных расходов.

– Я на него не в обиде, – сказал дедушка с грустью, – два с половиной процента могут считаться законными для сделок в военное время. Но что же будет с тобой, Сережа? Мы с бабушкой толковали и решили, что тебе остается только одно: *оттягиваться.*

– Я вам дам ответ завтра, – сказал я и выбежал, оставив старика в недоумении…

2

…потому что все еще я не знал, что думать о войне. Она началась для меня знойным июльским утром 1914 года, когда солдаты из соседней казармы выступили на фронт. Это были первые маршевые роты, когда никто не плакал, полковые оркестры играли марш из «Африканки», офицеры шли впереди взводов танцевальным шагом, поднимая к козырьку учтивую руку в элегантной замшевой перчатке. (Это было горе только для влюбленных, которым даже три недели разлуки казались вечностью. Никто не верил, что война продлится дольше. Не верили в выстрелы, в кровь, в невозможность поехать на Карлсбадские воды. Пришлось инсценировать злобу против немцев, запретить оперы Вагнера, гамбургскую колбасу).

С рассудительным волнением начитанного мальчика следил я за движением рядов, стройных, как на учении. В моем мозгу мешались батальные сцены из Виктора Гюго с акварельными атаками профессора Самокиш-Судковского, кои давались бесплатным приложением к журналу «Семейный досуг». Пожалуй, мне нравилась война! В семье Абрамсона я не разыскал следов патриотического возбуждения. Их не оказалось и в семье Шабельских где я гостил каждый год по два месяца. Какая-нибудь случайность – фотография в газете, траурный креп, падение Перемышля – переворачивала мои мысли.

Бесноватые ораторы собирали на площадях несметные толпы народа и произносили речи о зверствах императора Вильгельма, уверяя, что у него из правого уха течет зловонная жидкость. Под влиянием их красноречия я целую неделю ненавидел Вильгельма, пока не узнал, что бесноватость ораторов обеспечена текущими счетами монархического союза «Михаила-архангела».

Тогда начал выходить журнал «Русские герои на войне», где на отличной бумаге способом многокрасочного печатания изображались подвиги солдат русской армии всех национальностей, кроме евреев. Обиженные этим, военные поставщики-евреи выпустили журнал «Евреи на войне», где описывались, с применением тех же способов типографского прогресса, героические поступки на земле, в воде и в воздухе, совершенные одними евреями. Я читал оба журнала и, чувствуя в себе мужество двух наций, рвался на войну. Разброд чувств не прекратился и тогда, когда я вступил в подпольный социалистический кружок.

В организацию меня вовлек мой бывший репетитор Кипарисов, студент-естественник, с умным, утиным лицом, в круглых очках, похожий на школьный портрет Грибоедова.

Приглашение Кипарисова мне польстило. Я немедленно возвысился в собственных глазах. Кроме того, я надеялся получить от организации твердое и окончательное разрешение мучивших меня вопросов, в частности – вопроса о войне. Относительно многих вещей члены кружка придерживались полного единодушия. Так, например, все без исключения соглашались, что религиозные догмы произошли от первобытного поклонения силам природы, от фетишизма, анимизма, тотемизма, терротеизма. В то же время одни говорили, что победа над немцами укрепит самодержавие и что нам следует желать поражения России. Я сделался пораженцем. Другие говорили, что война действительно бесчеловечна; однако немцы – варвары, гунны и исторические разрушители культуры, что подтверждается артиллерийским обстрелом Реймского собора. Пример с Реймским собором подействовал на меня, и я сделался оборонцем. Я быстро сделался опять пораженцем, когда увидел, что все наши гимназистки (даже Лидочка Шоль) гуляют с прапорщиками.

Прапорщики задавали тогда тон. Их выбрасывали тысячами каждую неделю из бесчисленных офицерских школ, чтобы пополнить неслыханную убыль в командном составе. Офицеры бесчинствовали в тыловых городах. Кутежи. Заносчивость. Азарт. Ореол геройства. Им подражали многочисленные чиновники из полувоенных организаций, молодые врачи, служащие Земского союза, Союза городов, Северо-помощи, гидротехнических канцелярий и Осо-

бого комитета но снабжению действующей армии сухарями. Все эти организации давали право на ношение формы, которая не отличалась от офицерской. Только в погонах было маленькое различие – тусклый фон или крошечные зигзаги по краям. В золотошвейных научились делать эти зигзаги почти неразличимыми, так что не только солдаты, но даже старые, опытные городовые по ошибке козыряли чиновникам и только после спохватывались и ругали себя за позор. А самое главное – все эти организации давали отсрочку от военной службы, почему там и скопилось множество молодых здоровых людей.

Володя Мартыновский попал в Земсоюз благодаря протекции своего дяди – генерала Епифанова. Я встретил Володю на улице. На нем были шашка, шпоры, полевая сумка, компас, часы со светящимся циферблатом, термос, маузер, полевой бинокль и походная папиросница на ремне.

– Что ты так разукрасился, Володька? – сказал я, подойдя к нему. – Всем известно, что ты строишь бани в тылу.

Володя положил руку на термос. Военная доблесть блеснула в его глазах.

– Священная обязанность наша, – сказал он, – оборонять родину от нашествия тевтонов. Я не позволю смеяться над этим.

Я плюнул и отошел. Мы рассорились. Мной овладела зависть к золотым погонам, которых я не мог достигнуть из-за своего полуеврейского происхождения. Я примкнул к штатским, белобилетникам, к симулянтам, к тем, кто купил себе удостоверение о паховой грыже или о плоской ступне. Мы собирались в своем кругу, где-нибудь в маленькой кофейне, в глухих уголках парка. Там мы критиковали стратегические планы главного штаба и пели вполголоса куплеты: «Прежде я был дворником, звали меня Володей, а теперь я прапорщик, ваше благородье…» Говорят, что эту песенку сложили старые офицеры мирного времени, завидуя прапорщикам за их быстрое продвижение в чинах, на которое раньше надо было класть годы работы, лести, низкопоклонства.

Однажды на бульваре пьяный мастеровой запел эти куплеты. Офицеры возмутились. Один из них выхватил шашку и зарубил мастерового насмерть. Военно-окружной суд приговорил убийцу к двухдневному домашнему аресту и церковному покаянию. Монархические газеты напечатали его портрет на первой странице во весь рост, в сопровождении стихов, аттестовавших его как нового Ивана Сусанина. Многие тогда увидели извилистый нос, лукавые глаза и стан неестественной стройности. Офицера звали поручик Третьяков.

Выбежав от дедушки, я пошел прямо к Кипарисову. Я радовался заранее его умному, утиному лицу и большим спокойным рукам. Эти руки производили впечатление задумчивых, оттого что, разговаривая, Кипарисов медлительно шевелил пальцами. Они как будто думали вместе с ним, производя на свет спокойные, плавные мысли. И вдруг, сжимаясь в кулак, обрушивались последним неопровержимым ударом.

Невозможно было спорить с Кипарисовым: он не только отличался острым умом, но и обладал еще особым способом мыслить, который он назвал «методом». Этот метод казался мне похожим на ключ, который подходил решительно ко всем замкам, к несгораемым шкафам религии, философии, морали, политики. Ах, особенно политики! Я много дал бы за обладание этим ключом, ибо с ним можно было чувствовать себя легко в жизни, почти волшебником. Иначе говоря, Кипарисов представлялся вне всеведущим; и сейчас, идя к нему, я знал, что застану его за книгой, сочинением устрашительной толщины, окаймленным дебрями примечаний, и которое тем не менее Кипарисов без труда опровергает своим удивительным методом, покуривая махорку и улыбаясь с непобедимой насмешливостью.

Кипарисов сидел верхом на кухонном столе, заваленном рукописями, и играл в карты с хозяйским сыном. В пылу игры они меня не заметили. Это был «подкидной дурак». Лицо Кипарисова нахмурилось. Мне было знакомо это выражение мозговой напряженности. Очевидно, он проиграл, ибо крепко выругался и бросил карты, а мальчик, засмеявшись, принялся

щелкать его по лбу, по великолепному высокому лбу, отшлифованному в умственных бурях. Тут Кипарисов увидел меня.

– Сережа, у вас серьезное дело, – сказал он, скинув ноги со стола, – вы чем-то встревожены. Расскажите.

– Дмитрий Антонович, – сказал я, – Митенька, меня берут в армию через три недели. Я могу отвертеться – скажем, буду *оттягиваться.* Но я еще не знаю, как смотрит организация, как вы на это смотрите, Митенька, на вопрос о войне.

Поддавшись искушению, я прибавил:

– Разве карты не есть сословно-классовое развлечение, которому не будет места при социалистических формах жизни?

Кипарисов посмотрел на меня с недоумением и рассмеялся. Он попробовал сдержать смех, но ему становилось все смешнее. Он повалился на стул, хохоча и в бессилии махая руками. Он вылез из этого смеха ослабевшим, как утопленник, и сказал, утираясь платком:

– Вот что, Сережа, приходите сегодня вечером к Мартыновскому. Мне нравится ваше принципиальное отношение к вопросу о войне. Мы поставим его на обсуждение. Кстати, это будет отличной проверкой отношения членов кружка к войне. Словом, будет жарко.

Он надел картуз, взял меня под руку, и мы вышли на улицу.

– Видите ли, Сережа, – сказал он по дороге, – вы давеча обиделись, когда я рассмеялся. Рассмотрим этот случай. Вы правы. Я все явления рассматриваю с точки зрения диалектического материализма и на нем же основываю свои действия в жизни. Но – как бы вы это поняли, мальчик! – это великое учение вовсе не состоит в том, что человек должен с утра до вечера сидеть над толстыми книгами. Карты (а карты только частный случай), вино, любовь или, скажем, рысистые бега вовсе не будут нами оставлены при переходе из царства необходимости в царство свободы. Фурье, если помните, даже строил свои фаланстеры на разумном использовании человеческих страстей. Страсти, Сережа, хотя они основаны на изменениях клеточек материи, имеют свое течение.

Я признался Кипарисову, что я тоже считаю, что все основано на изменениях материи, но твердость этого убеждения часто колеблется идеалистическими писателями во главе с Эрнстом Махом, иногда простым дуновением весеннего ветерка, а чаще всего ссорами со стариком Абрамсоном, ибо я не могу поверить, чтобы такая алчность и придирчивость порождались простыми изменениями материи, а не злобным демоном сварливости, который засел в старике.

– Вы видите вещи не в реальном свете необходимости, а в произвольном блеске воображения, – проговорил Кипарисов и скрылся в дверях пивной, оставив за собой атмосферу всемогущества, слегка разреженную горьковатым запахом махорки, которую он курил, будучи бедняком.

3

Дом, в котором жил Володя Мартыновский, принадлежал дяде его – генерал-лейтенанту Епифанову, герою Перемышля. Никто не мог бы подумать, что в этом аристократическом особняке собираются поклонники Бланки и Маркса, что здесь рассуждают о бомбах, об экспроприации орудий производства, клянутся в верности рабочему классу над чаем с марципанами от Печесского и обсуждают технику цареубийства. К тому же старинный дом был почти пуст: мужчины, подрастая, уходили на войну, за ними разбредались жены по фронтам, по лазаретам. Десятки писем стекались сюда еженедельно из Персии, из Галиции, из Польши, из Салоник. Володя старательно вел корреспонденцию, извещая каждого члена этой огромной семьи обо всех переменах, происходящих с остальными, о смертях, калениях, повышениях в чине. Володя хвастался своим положением. Он корчил из себя хранителя фамильных традиции, он говорил, что его устроили в Земском союзе с отсрочкой специально, чтоб не угасла династия Епифановых. Мы знали, что он просто трус. Но по правде сказать, не все ли нам равно!

Володя был одержим болезнью услужливости. Неуверенный в себе, хвастун, прилипала, он покупал доброе расположение своим отличным столом, библиотекой, связями в штабе. Мы пользовались всем этим без стеснения и не любили Володю.

Он встретил меня в дверях. Холодный поклон. Мы дулись друг на друга после недавней ссоры на улице.

– Все в сборе, – сообщил Володя безразличным голосом, будто вовсе и не мне. – Кипарисов собирается открыть заседание.

– Много народу? – сказал я тоже в пространство.

– Ужасно много! – ответил Володя обрадованно. – Кипарисов назвал людей из других кружков. Человек шестьдесят. Есть настоящие рабочие. Есть анархисты. Есть девочки. Как ты думаешь, удобно потом предложить ужин? На всякий случай я заказал повару.

«Зачем он назвал столько народу!» – с неудовольствием думал я, не отвечая Володе и идя дальше по коридору.

Я знал, что мне будет нехорошо. Мне всегда нехорошо среди незнакомых, несвободно, стеснительно. Наоборот, чем больше своих, известных, тем мне лучше. Но не было никакой надежды сблизиться или хотя бы просто познакомиться в короткий срок с таким множеством людей.

Я начал осторожно приоткрывать дверь, надеясь незаметно войти. Но дверь с язвительным визгом заскрипела, и все глянули на меня. Я увидел подобие колоссального рокочущего блина, в котором слиплись все лица. Они качались, эти лица, как привязные шары, смеялись, хмурились или кричали. Все увидели меня разом, и я знал, что у каждого из этих шестидесяти человек появилось впечатление обо мне. «Он глупый», – подумали одни. «Неловкий», – другие. «Как он попал сюда?», «Должно быть, ничтожество», «Ничего себе, только застенчивый», «Что он, горбатый?», «Чучело», «Не говорите, в нем, есть что-то приятное», «Красивый профиль», «Щуплый!», «Не умеет держаться».

Посреди этого оглушительного хора мыслей я брел с преувеличенной прямизной, спотыкаясь, по бесконечной комнате, кругом всходили лица, ослепительные, как солнца, я слышал жестокий смех, кто-то приветствовал меня, я, не оглядываясь, почти бежал к дальнему углу, где видел удобный стул в тени развесистого фикуса.

– Осторожней, послушайте! – услыхал я женский голос. – Вы мне ногу отдавили. Медведь!

Стул действительно оказался удобным. Здесь меня никто не заметит. «Под сенью фикуса», – подумал я, ища в насмешке противоядие от смущения. Я хорошо видел всех. Сколько людей! От шума и столпления комната стала чужой. Она раздвинула свои масштабы,

дальние ряды стульев кажутся недосягаемыми, там студенты в рубашках, усы, лысинки, а за ними, в совершенной уже недосягаемости, дематериализованный, за маленьким круглым столиком с карандашами, со стаканом воды – Кипарисов. Митенька улыбается; круглые очки его непобедимо сверкают. Какая свобода в обращении! Там смех, сверканье мысли, похлопывание по плечу, револьверы в задних карманах брюк. Смогу ли я когда-нибудь достигнуть такого совершенства?

Я стал искать глазами женщину, которой я отдавил ногу. Припоминаю: это было во второй половине пути, против камина. Вот они, порыжелые ботинки с отстающими подметками. Сама виновата: зачем вытянула ноги! Я вскарабкался глазами по ним – это были две уверенные в себе ноги, тонкие, с отчетливой мускулатурой, – задержался на животе, удивляясь путанице узоров, приподнятых повыше, на груди, достиг шеи, умилительной в своей худобе (двадцатирублевый бюджет, уроки на краю города с тупыми малышами), и уже чувствовал жар широкого рта, когда поспешно отвел глаза: незнакомка смотрела на меня в упор. Расширенные (серые?) глаза. Строго. Сдвинутыми бровями. (В конце концов, что я такого сделал?)

Когда через минуту я опять посмотрел на нее, она глядела в сторону, отвлеченная разговором.

Я увидел ее лицо безукоризненной ясности. Можно было поклясться, что эти глаза никогда не щурятся, что рот никогда не кривится во лжи или гневе, лицо такое странное, такое строгое и родное, что сердце мое похолодело от отчаяния. Я чувствовал отчаяние оттого, что не могу выйти из-за фикуса, положить руки ей на плечи и сказать: «У меня никогда не было друга. Давайте будем друзьями!» – и оттого еще, что не имел надежды сделать это когда-нибудь потом.

После этого я стал открывать в незнакомке другие черты. Она показалась мне проницательной, смешливой, способной к математике. Целомудренный узел волос на затылке я приветствовал как старого знакомца. Мне удалось предсказать точные размеры ладони, запачканной чернилами, ее длину, узость и даже момент ее появления, как это удалось Леверрье в отношении к Нептуну. Становясь все холодней и разумней, я понял, что незнакомка не может быть лишена недостатков. Тотчас я представил себе их. Наконец каким-то невероятным усилием воли я извлек из себя знание ее имени. Катя. Катерина. Катенька для друзей!

Неожиданность этого открытия ошеломила меня. Я обратился за подтверждением к соседу. Сосед спорил с кем-то. Он так погрузился в спор, что на поверхности оставалась одна спина. Я постучался в эту спину взволнованно, как человек, который потерял ключ от квартиры. Сосед оборотился, и я увидел добрые и насмешливые глаза Рымши.

– Я не знаю, – сказал он, пожав плечами, – вообще тут чертова уйма незнакомого народу. Кипарисов готовит что-то грандиозное.

И с деревянным скрипом он снова повернулся вокруг своей оси.

– Кипарисов готовит грандиозный сюрприз, не так ли, коллега Иванов?

Я обернулся и увидел громоздкую фигуру и раздвоенный подбородок Адамова.

– Не так ли, коллега? – повторил он своим густым басом. – Ведь вы его любимый ученик.

Адамов мне был немного знаком. Я знал, что он социалист. Удивительней всего были в нем его крупные телеса, его тяжесть. Все стеклянное в квартире дребезжало, когда проходил Адамов своим шагом победителя, возмущая атмосферу воинственным рыканием. Еще удивительней была моя догадка о нем: в глубине гиганта я прозревал низенького, трусливого, тенорового человека. «Коллега» – мне польстило, «любимый ученик» – мне тоже польстило. Не зная, что ответить Адамову, я смутился. Тем более что в этот момент Володька Мартыновский устроил мне неприятность. В припадке хозяйской хлопотливости, снуя по залу, он вдруг отодвинул фикус в угол, и я открылся во всей своей неприглядности, с руками, зажатыми между коленями, с мучительно закушенной губой.

Я быстро глянул в сторону незнакомки. Странно! Ее не было. Там сидел маленький Володя Стамати и весело мне улыбался. Он повел пальцем перед носом – жест предостережения! Продолжая шарить глазами по залу, я добрался до Кипарисова. Митенька встал. По залу пошло движение, кашель, шарканье стульев. Тотчас поднялся возле меня Рымша и зашагал, лавируя между стульями. Дойдя до Кипарисова, он оборотился и показал залу свое бледное, словно ослепшее лицо.

– Слово принадлежит, – проскандировал в тишину Кипарисов, – слово принадлежит товарищу Рымше.

(– Так вы ничего не знаете? – услышал я тяжелый шепот Адамова. Пудовая ладонь легла мне на плечо. «Что же это будет?» – подумал я взволнованно.)

– Господа! – сказал Рымша. (Началось!) – Нашего товарища Сережу Иванова призывают в армию…

(Новый взрыв движения и шепота. Вижу оборачивающиеся лица, кивки, улыбки. Хочу провалиться сквозь землю.)

– Господа! – продолжает Рымша. – Будучи при своей молодости человеком принципиальным, товарищ Иванов…

(Славу богу никто не смотрит!)

– …решил согласовать это с решением нашего кружка, который, в свою очередь, является частью Российской социал-демократической партии. Вот, господа, вопрос совести для каждого, кто причисляет себя к социалистам. На третьем году войны мы должны, господа, поставить этот вопрос со всей решительностью.

(Голос с места: «Вспомнил!» Кто это? Не Стамати ли?)

– Должен предупредить аудиторию, что на реплики с места я не отвечаю. Всякий, кто не согласен со мной, благоволит выйти сюда и членораздельно объясниться.

(Аплодисменты. Нещадно рукоплещет Адамов. Он Даже повизгивает от удовольствия.)

– Господа! Повторяю: это вопрос совести. Не только совести, правда. Еще и некоторой доли ума. Не хочу быть голословным. Только сегодня, перед заседанием, я позволил себе осведомиться у нашего уважаемого хозяина, господина Мартыновского, о его личном отношении к войне. Я получил такой ответ: «Война до конца». Потом: «Чаша терпения переполнилась». Не улыбайтесь, господа. Вы спрашиваете, какова его партийная принадлежность? Я полагаю, нечто среднее между эсером и бильярдистом.

(Смех. Всеобщее удовольствие. Явно обрадованный Мартыновский раскланивается во все стороны.)

– Является вопрос: допускает ли наша партия свободу мнений? Некоторые ставят вопрос шире: допускает ли свободу мнений принадлежность к Интернационалу?

(Голос с места: «К бывшему!» На этот раз явно: Стамати.)

– Вопрос по меньшей мере праздный, господа! Все знают, что социалистические депутаты английского, германского и французкого парламентов вотировали военные кредиты. Больше того: они вошли в состав правительств так называемых коалиционных, или оборонческих. Ибо обе воюющие стороны уверяют, что они только обороняются. Таким образом, мы присутствуем при странной разновидности драки, где оба дерущихся защищаются друг от друга. А так как это положение противоречит здравому смыслу, то оба участника драки уверяют, что нападает противная сторона. «Мы защищаем культуру, а противник разрушает ее», – говорит каждый из них, будь то Тома во Франции, Шейдеман в Германии, Вандервельде в Бельгии или Плеханов в России. И европейская культура, ревностно защищаемая со всех сторон, гибнет с катастрофической быстротой. Гаазе сказал на международном митинге в Брюсселе…

Я не узнал, что сказал Гаазе. Я перестал слушать. Как всегда на людях, мной овладела забота о своем лице.

Сквозь эту заботу, как сквозь туман, доносился неровный гул Рымшиного голоса, иногда прорываясь громом метафор. Как часто, сидя у себя в кабинете перед зеркалом, я примерял маску задумчивости или иронии, грусти, живости или смеха. Но я растеривал все эти прекрасные маски, едва попадал в общество, и лицо мое оставалось голым во всей своей губошлепости, во-лоокости, простоте, скуке. Я считал, что сидеть на людях со своим лицом так же непринято, как без штанов. Только об этом не говорят, потому что говорить об этом еще неприличней.

Я огляделся. Вот и сейчас все закрыли наготу своего лица. У одних лучше, у других хуже. Вот Мартыновский. Он рассудителен и чуть-чуть грустен, каким и полагается быть во время серьезного теоретического доклада. Вот рыжий студент из плехановской группы «Единство», у него лицо такое, что он отлично понимает не только то, что оратор говорит, но и то, что оратор скажет и что вообще все ораторы могут сказать, – маска превосходства, отороченная легкой иронией. Я посмотрел на Стамати. По лицу моего маленького приятеля бежали легкие тени. Он волновался. Внезапно я замегил странную вещь: таинственную связь взглядов между ним и Кипарисовым. Контакт улыбок, огорчений, обид, лукавства. Они чувствовали заодно. Мне сделалось завидно. Ежеминутно Стамати открывал рот, словно собирался крикнуть, и тотчас захлопывал его, остановленный строгим взглядом Кипарисова. Они походили на заговорщиков. Вдруг я увидел, что сейчас Стамати не выдержит. Действительно, он выметнул вперед свое горячее лицо и крикнул:

– Поцелуйтесь с Каутским!

Не отвечая, Рымша продолжал:

– Есть и другая группа социалистов, численно меньшая, да и качественно не блещущая именами. Они сильны, пожалуй, своим крайним фанатизмом. Чтобы заранее рассеять могущие возникнуть сомнения, заявляю от имени своею и своих единомышленников, что мы отнюдь не примыкаем к этой группе, сходясь с ней только в некоторых конечных тактических выводах. В остальном нас разделяет глубокое идейное и организационное разногласие. Чтобы успокоить товарища, сидящего возле камина, – кажется, его фамилия Стамати? – я могу назвать их имена. Вряд ли они скажут вам что-нибудь: это – довольно известный исследователь экономических вопросов Ленин и еще несколько шведских и латышских социалистов. Эти люди издают в Швейцарии журнальчик «Vorbote», что означает – «Предвестник». Они и претендуют на то, чтобы называться предвестниками социалистической эры. С большим темпераментом они призывают народы Европы бросить войну и выступить против своих правительств, против буржуазии, за – социальную революцию. Но – должно быть, из-за маленького тиража журнальчика – социальная резолюция не приходит.

Поднялся смех и шумные аплодисменты. Я тоже похлопал. Действительно, смешная компания – эти сотрудники «Предвестника», пытающиеся своими статейками вызвать мировую революцию. (Такая революция связывалась для меня с иллюстрациями к фантастическим романам в журнале «Мир приключений»). А главным образом я аплодировал потому, что мне просто неудобно было оставаться безучастным.

Но Рымшу, казалось, эти рукоплескания совсем не радуют. Положительно он недоволен! Лицо его кисло поморщилось, и он досадливо махнул рукой. С каждой минутой я все меньше понимал происходящее. Отчего Кипарисов сдерживает Стамати, если они заодно? Отчего Рымша недоволен своим успехом, если он сам его добивался? А главное, я недоумевал (и даже досадовал), почему так быстро забыли обо мне и перешли к сухим, скучным спорам. Мне было это неудобно, потому что я не знал, просить ли мне у дедушки денег на *оттягивание* или идти прямо в армию. Из речи Рым-ши совершенно не ясно, в чем долг социалиста.

Я решил выспросить все наверняка у Кипарисова. Я встал, чтобы подойти к нему. Но тут же отступил к стене: в дверях мелькнул смутный очерк моей незнакомки.

В этот момент Володя Стамати выкинул странный номер. Он вскочил на стул и крикнул:

– Размазня! Рохля! Рымша, я вам говорю! Какой же вы интернационалист? Вы – кисель, болото! Да здравствует международное братство рабочих! Да здравствует пролетарский Интернационал!

Кругом негодующе шумели. Кипарисов призывал к порядку. Стамати подбежал ко мне и торопливо спросил.

– Ты не видел, сколько человек мне аплодировало? Мало, – сказал он в раздумье, узнав, что всего трое, – но ничего: через полчаса их будет тридцать, через год – триста тысяч.

Высказав это фантастическое предположение с видом вполне уверенным, он уселся рядом со мной. Я причислил его слова к списку сегодняшних непонятностей: почему вспрыгиванью на стул и выкрикиванью ругательств предстоит такое блестящее будущее? Почему?

Тем временем Кипарисов объявил, что следующим будет говорить товарищ Адамов. Я не удивился: на мой взгляд, Адамов давно этого хотел. Он весь набух желанием говорить. Красноречие, еще не родившись, уже булькало у него в горле и даже сочилось с пальцев, которыми он нервически шевелил. Однако, ставши у стола, Адамов заговорил не сразу. Его широкое лицо было непроницаемо, оснащенное толстыми очками и трехдневной небритостью. Начало его речи напоминало прыжок в холодную воду.

– Преступление! – выкрикнул он громким голосом и погрозил в пространство своим толстым, как чубук, пальцем. – Предательство! Прямая измена! Вот чем занимаются невинные сотрудники «Vorbote», над которыми так изящно острил наш интернациональный товарищ Рымша. Не острить, а прикрыть их надо, по крайней мере пока не будет сломлена немецкая опасность. Нечего смеяться, не до смеха сейчас, я вам говорю, молодой человек Стамати! Я сам сообщил бы вашим родным о ваших опасных тенденциях, если бы я не видел, что вы просто щенок. Глупый щенок, науськанный кем-то; кем – я еще не знаю, но до кого я доберусь! Воображаю, до чего вы договорились бы, если бы не тактичность нашего уважаемого председателя, товарища Кипарисова.

(Поклон в сторону Кипарисова. Кипарисов отвечает вежливым кивком. Аплодисменты. Стамати тихо смеется. Я тревожно оглядываю окружающих. Возобновление адамовского рева.)

– Да, хороши! Статейки в журнале, высокие идеалы, братство, смешные чудаки! А это тоже идеалы? А это тоже чудаки?

(Адамов потрясает в воздухе какими-то бумажками. «Эге, да он подлец!» – шепчет Стамати. Всеобщая заинтересованность. Кипарисов невозмутим. Жутко!)

– Сейчас, сейчас, товарищи! Швейцарские птицы оказываются авторами не только фанатических статеек, но и возмутительных прокламаций, распространяемых среди наших доблестных частей на фронте. Тише, товарищи! Я понимаю ваше законное негодование. Я сейчас процитирую. Вот прокламация, подписанная Петербургским комитетом большевиков, – как видите, птицы залетают из Швейцарии довольно далеко, может быть, даже в этот зал. Читаю: «Мировые события надвигаются. За наступающими потрясениями и политическими переворотами уже стоит призрак социальной революции». Прекрасное чтение для фронтовых частей, не правда ли? А вот из другой. Подписана областным комитетом кавказских большевистских организаций. Обращена к солдатам Кавказского фронта: «Смещайте начальников, выбирайте руководителей из вашей среды, объявите войну помещичьему правительству и завоюйте землю и волю». А? По-вашему, идеализм? Ну, а по-моему – немецкие деньги!

– Идиот! – отчетливо раздается возглас Стамати.

Адамов снимает очки. Лицо его дрогнуло, смягчилось, заулыбалось, как у приказчика за прилавком, когда, не надеясь на качество товара, он пытается сдобрить его сладостью обращения.

– Прошу заметить, что я никого не обвиняю. Товарищи, я старый социалист! За успех международного братства я не пожалел бы жизни. Благороднейшие умы! Человечество! Но ростки международного братства еще так бессильны. Товарищи, они – как игрушечные плот-

ники перед порывом моря, и ничего удержать не могут. Когда-нибудь. В будущем. Быть может, скоро. Долой войну? Да, долой! Но не раньше, чем в центре Европы, в Берлине, будет уничтожена вечная угроза человечеству и культуре. Вы можете мне не верить. Адамов ошибается. Адамов врет. Тут некоторые горячие головы пытаются оскорблять Адамова. Спрошу их: ну, а как же с Каутским, который утверждает, что во время войны классовая борьба должна быть приостановлена?

(Стамати: «Каутский – предатель!» Гул возмущения.)

– Товарищи, успокойтесь! В то время, когда некоторые из ораторов с места ходили без штанов и мама им вытирала нос, Карл Каутский уже был основоположником ортодоксального марксизма, к вашему сведению! Благодарю вас, товарищи, за аплодисменты. Я вижу по ним, что сторонники крайних идей здесь не в большинстве. Именно к ним – вы говорите «к нему»? Не знаю, не знаю! – я адресую мой следующий вопрос: а как же с Плехановым, который заявил, что война справедлива со стороны царя и что нужно прекратить всякую борьбу против русского правительства? Тише, товарищи, это интересно!

(Стамати смущен. Он шепчет: «Ты не знаешь, Сережа, он не врет насчет Плеханова?» Я молчу. По-прежнему происходящее мне кажется сложной игрой, правил которой я не знаю. Адамов надевает очки. Голос его крепнет. Он гремит.)

– Довольно болтовни! Итак, Плеханов, который всю жизнь боролся против шовинизма и оппортунизма, Георгий Валентинович Плеханов, отец русского социализма, – тоже предатель? Да или нет? Товарищи, он молчит! Есть вещи, на которые не осмеливается даже этот развязный юноша. В таком случае я сам отвечу. Плеханов, товарищи, вместе со всем передовым русским обществом, вместе со всей, я позволю себе сказать, прогрессивной Европой, – за уничтожение отвратительного тевтонского империализма, за мир в Берлине! Долой предателей! Долой цюрихских дезертиров! Да здравствует война до победного конца!

Тут поднялись такие аплодисменты, что я испугался, что оглохну. Один Стамати не хлопал из тех, кто мне был виден. Он имел довольно жалкий вид. Еще Кипарисов не аплодировал – безусловно, из соображений председательской беспристрастности. Третий человек, который не аплодировал, был я. Не знаю, из каких соображений. Думаю, что очень уж меня взволновал вид Адамова. В детстве, через промежутки в три-четыре года, у меня случилось несколько припадков ярости. Они были так резки и так ужасны по последствиям, так не похожи на мое обычно кроткое и немного вялое существо, что окружающие долго вспоминали их, качая головой, как у постели чудесно спасенного. Всегда одно и то же чувство начинало их: чувство непобедимого отвращения к наглецам, к трусам, к хамам. Увидев Адамова, когда он отходил от стола, раздувшийся от самодовольства, от сознания своей силы, я почувствовал, что заболеваю, я вскочил и крикнул:

– Товарищ Кипарисов! Я прошу слова!

(«Куда ты лезешь? – услышал я шепот ужаснувшегося Стамати. – Сиди, не порть дела!» «Это Иванов, – говорили довольно громкие голоса сзади, – да, Да, очевидно, подкрепление, из резерва»).

Кипарисов внимательно посмотрел на меня.

– Я вас запишу в список ораторов, – сказал он, – ваша очередь, – он порылся в бумажке, – седьмая.

– Нет, я хочу сейчас, – сказал я и ужаснулся высоте и вибрациям своего голоса.

– Сейчас, – сказал Кипарисов в своей обычной корректной манере, – сейчас в порядке очереди буду говорить я.

(Подсказывают: «Просите по мотивам голосования».)

Кричу:

– Прошу по мотивам голосования!

(Почему все смеются?)

– По мотивам голосования, – говорит Кипарисов очень серьезно, – не могу вам дать потому, что не было голосования, а значит, не было и мотивов.

Голова моя яснеет (от ярости), и я говорю:

– Внеочередное заявление.

Кипарисов смотрит на меня и вынимает часы.

– В порядке внеочередного заявления, – говорит он громко, – слово предоставляется товарищу Иванову. Три минуты. Прошу выйти на середину.

Митенька, вы думаете, я не выйду! Я подбежал к столу. Тихо.

Я говорю:

– Тут предыдущий оратор спрашивал насчет Плеханова: а как же, он предатель или нет? …

(Важно говорить быстро, прежде чем выдохлось бешенство. Толстая голова Адамова смотрит на меня с противным добросердечием.)

– Нет, вы спрашиваете, товарищ Адамов! Так вот я вам отвечаю: объективно – да!

(Недоумевающие крики: «Что – да?»)

– Это ясно, как божий день, сколько бы вы ни угрожали нам. Между прочим, я нисколько не удивлюсь, если вы окажетесь доносчиком. Я заявляю, что я оскорблен вашей манерой говорить, нет, я не испуган, я возмущен, я считаю это хамством…

Кипарисов наклоняется ко мне и учтиво спрашивает:

– Вы кончили?

Я припоминаю, что надо сесть. Издали раздается одинокое рукоплескание, бешеное, как колокол на гибнущем корабле. Это Стамати сигнализирует мне свою дружбу. Остатки ярости еще шевелятся во мне. Меня еще хватает на кусанье губ, на независимую позу со скрещенными руками. Но уже ощущается разложение, уже ощущаю длину и неудобство своих рук, уже не выдерживаю пристальных взглядов.

В этот момент (как благодарен я ему!) поднялся Кипарисов, чтобы начать свою речь. Его высокая фигура резко торчит над столом, зачеркивая все предыдущее. Его глаза и губы обещают твердость, ясность, разоблачение тайн.

Я думаю о Митеньке словами верности и восторга, когда замечаю, что шепот изумления, нарастая, летит по комнате. Я оглядываюсь на Кипарисова и тоже изумляюсь: он не говорит свою речь, он читает ее по бумажке! Кипарисов, который никогда не пользуется никакими шпаргалками, чей систематизированный мозг обходится без конспектов, без тезисов!

Не удержавшись, я заглядываю: в руках Митеньки печатный текст. Еще один пункт к перечню сегодняшних непонятностей! Я прислушиваюсь: да, он читает, это слышно по ровности голоса, по книжности интонаций.

– «…стоит немецкая буржуазия. Она одурачивает рабочий класс и трудящиеся массы, уверяя, что ведет войну ради защиты родины, свободы и культуры, ради освобождения угнетенных царизмом народов… А на деле именно эта буржуазия… всегда была вернейшим союзником царизма и врагом революционного движения рабочих и крестьян в России».

(Адамов подает знак к аплодисментам. Я смущен.)

– «Во главе другой группы воюющих наций стой! английская и французская буржуазия, которая одурачивает рабочий класс и трудящиеся массы, уверяя, что ведет войну за родину, свободу и культуру, против милитаризма и деспотизма Германии… На деле целью борьбы английской и французской буржуазии является захват немецких колоний и разорение конкурирующей нации, отличающейся более быстрым экономическим развитием…»

(В зале смятение. Испуганные перешептывания. Некоторые выходят, гремя каблуками. Другие пересаживаются. Выкрик: «А германские зверства?» Адамов успокаивает окружающих жестами злорадного предостережения.)

– «Обе группы воюющих стран нисколько не уступают одна другой в грабежах, зверствах и бесконечных жестокостях войны, но чтобы одурачить пролетариат и отвлечь его внимание от единственной действительно освободительной войны, именно гражданской войны против буржуазии как „своей“ страны, так и „чужих“ стран, для этой высокой цели буржуазия каждой страны ложными фразами о патриотизме старается возвеличить значение „своей“ национальной войны…»

(Из гула возмущения, который уже не прекращается во время всей Митиной речи, я вылавливаю отдельные восклицания: «Недопустимые приемы!», «Этика социализма не может!», «Какая свинья!», «Вот его сюрприз!», «Значит, вы за поражение!», «Политический бред!»)

– «…для нас, русских с.-д., не может подлежать сомнению, что с точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии, самого реакционного и варварского правительства, угнетающего наибольшее количество наций и наибольшую массу населения Европы и Азии».

(На слове «Азия» Адамов встает. «Простите, – говорит он, и оглушительный голос его разом покрывает все шумы в комнате, – простите, я вас перебиваю, наше настоятельное желание, я говорю от имени большинства присутствующих, наше настоятельное желание – знать автора и название бумаги, которую вы читаете». – «Ну, так убирайтесь, если вам не нравится!» – кричит Стамати. Рыжеволосый плехановец вскакивает и уводит свою группу из трех человек. Мартыновский вьется около них. «Будет ужин», – умоляюще шепчет он. Расстройство в стульях. Многие сидят верхом на них и ожесточенно спорят, наезжая друг на друга. Молниеносные диспуты в разных концах. Жарко. Я тупею. Кипарисов возвышает голос.)

– «Превращение современной империалистской войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг, указываемый опытом Коммуны, намеченный Базельской (1912 г.) резолюцией и вытекающий из всех условий империалистской войны между высоко развитыми буржуазными странами».

(Я устал. Я пробираюсь к выходу. Комната переменилась. Вокруг Адамова, как в опыте Плато об образовании вселенной, собрались почти все группы. Вокруг Кипарисова – пустота, которая кажется панической. Только несколько верных. Среди них Стамати.)

– Бумага, которую я читал, – кричит Кипарисов, – манифест нашей партии!

– Погоди, – убедительно шепчет Мартыновский, – будет ужин.

Я отстранил его и выбежал на улицу.

Улица, теплая, ветреная. Падают листья. На всем щеголеватый лак осени. Голова моя набита словами. Я не могу из них ничего сделать.

– По Адамову, – шепчу я, – идти, по Кипарисову – не идти, по Рымше – и идти и не идти.

У меня был способ избавляться от тяжелых мыслей – бросать их. Приходила легкость. Чудесная легкость отчаяния. Таким образом мне удалось избавиться от страданий, связанных с оставлением на второй год в восьмом классе, с отъездом Катюши Шаховой. Я почувствовал, что теперь это не удастся. Ко мне будут приставать дедушка, Володя Стамати, университетское начальство, Рувим Пик, Матвей Семенович, его жена, воинское присутствие, Кипарисов. Они будут приставать со слезами, с советами, с законами, с жалобными письмами, с памятью отца. Они меня запутают, изведут, поссорят с собой, вынут из меня мои собственные желания и вложат долг внука, долг гражданина, долг христианина, долг еврея, долг социалиста, долг дворянина, долг сироты. Вот сейчас передо мной свобода. Всего несколько часов. Скорей! Прежде чем я увижу дедушку и Кипарисова, я смогу решить сам. Скорей!

Тут я признаюсь, что мне хочется на войну. Мне нравится военная форма. Опасности, заманчивые, как географический атлас, влекут меня. Рана в руку или легкая рана в голову – я опять в тылу, я гуляю по бульвару с перевязанной головой, с георгиевской ленточкой (очень скромной) в петлице. «Вы ранены?» – «Пустяки, – говорю я и машу рукой, – осколком гранаты,

это почти неизбежно на фронте». – «Но я вижу, вы георгиевский кавалер?» Тут я чувствую, что мне не избавиться от рассказа. «Я заработал этот крест, – говорю я холодно, – за пренебрежение к смерти в деле под Бзурой». – «Пренебрежение к смерти…» – шепчут собеседники, восхищаясь красотой этих слов. «Нас было трое, – говорю я и морщусь от своей тяжелой раны в голову, – генерал Епифанов, поручик Третьяков и я. Несмотря на разницу в чинах, мы очень дружили: опасности сближают. Мы были всегда вместе. Мы были всегда впереди. Мы врезались в самую сердцевину вражеского строя. Мы хотели захватить знамя. Вы знаете, конечно, что, когда знамя взято, полк сдается в плен. Генерал скоро отстал, ему трудно, одышка. Поручик тоже отстал. Он не отстал, он просто уступил. Просто из товарищеских чувств. Тем более что у него уже есть „Георгий“. Я начал драться со знаменосцем. Благодаря тому что я умею фехтовать (я – чемпион гимнастического клуба „Турн-Феррейн“), я зарубил знаменосца и взял знамя».

Собеседники подавлены, они понимают, что так щеголять скромностью может только настоящий герой.

«Прощайте», – говорю я и поднимаюсь, морщась от боли. По их дружелюбным и понимающим улыбкам я вижу, что они знают, куда я иду. Со своей скамейки все они отлично видят, как ко мне подходит высокая дама (но ниже меня) в вуали, я беру ее под руку и иду, хромая на раненую ногу. Легкая зависть к моей хромоте.

Может быть, я еще помечтал бы (я часто на улицах мечтаю), но чья-то легкая рука легла мне на плечо.

Я обернулся и увидел мою незнакомку.

– Так и есть, – сказал она, – это Сережа. Здравствуйте! Как живете?

– Слушайте, – крикнул я, – вот так история! Теперь я знаю, почему я знаю ваше имя. Катя! Катенька Шахова.

Катя улыбнулась.

– Все говорят, что я изменилась. Положим, два года. А я вас сразу узнала. Вот только тут, на улице, начала сомневаться, когда вы захромали. Что с вашей ногой?

– Я задумался, – пробормотал я.

Она расхохоталась.

– Да, это вы, Сереженька! Наверное, опять вообразили себя Георгом Байроном. Слушайте, как вы попали к Мартыновскому? Что вы делаете? Где вы живете? Где Шабельские?

– Обыкновенно, – пробормотал я, не переставая смотреть на нее. – Как вы попали в Одессу? Что вы делаете? Расскажите.

Старинная привычка – не слушать Катю, а смотреть ей в лицо и восхищаться шевелением губ, – старинная, позапрошлого лета, привычка опять овладела мной.

– Я здесь учусь на женских курсах. Я про себя потом. Ну, а вы что?

…Позапрошлое лето. Я гостил в усадьбе Шабельских «Приятное», на Инзе, в Пензенской губернии. Шаховы были нашими соседями. Мы быстро подружились с Катей. Она была охотница разгадывать сны. Мы встречались каждое утро в беседке, едва успев выпить чаю. Она любила сны необыкновенные, с экзотикой, с простором для разгадывания. «Но что я могу сделать, Катенька – плакался я, – если мне снится ерунда?» – «Это доказывает, что вы сами неинтересный человек», – говорила она холодно.

Я начал красть сны из книжек. К тому же все чаще в снах мне стала появляться Катя, и в таких непроизносимых подробностях, что я ни за что не признался бы ей в этом. Но мне было тяжело молчать, и я искал, кому бы открыться.

В дальнем углу сада стоял сарай со всяким хламом: ржавые лопаты для сгребания навоза, журнал «Живописное обозрение» за несколько десятков лет. Этому сараю я открыл свои чувства. Я был осторожен. Я написал на самой нижней доске латинскими буквами: «Katia krasivaja devocka i ia ee lublu».

Отец Катин, либеральный священник, гулял по аллеям сада, обдумывая сочинение о химических доказательствах бытия бога. Это был ученый человек, он знал все живые языки и четыре мертвых: латинский, греческий, древнееврейский и санскрит. Он внимательно прочел надпись, подчеркнул четыре ошибки, потом пошел к Шабельскому и все ему рассказал. Дедушка Матвей Семенович призвал меня к себе.

«Лублу? – сказал он, насмешливо глядя на меня. – Рано ты кразывыми дэвоцками заинтересовался. В папашу пошел…»

Хотя ему было и смешно, дедушке Шабельскому, но он искренне огорчился. Он боялся, чтобы я не повторил бурную и несчастливую жизнь моего отца. В тот же день вечером я был отослан в Одессу, к Абрамсонам. Вот о чем я думал, смотря на Катино лицо, близкое, как у сестры, которой у меня никогда не было.

– Советую вам оттягиваться, – сказала мне Катя на прощанье очень серьезно.

4

Дедушка протянул мне толстую пачку кредиток. Несмотря на все, я любил дедушкину руку – плотную, уютно поросшую рыжим волосом, просторную, как мир.

– Сережа, – сказал он с неудовольствием, – помни, венерические болезни не освобождают.

Дедушке далось это с трудом. Он боялся не только страданий, но даже и тех слов, которыми они называются. В его словаре вы не нашли бы чахотки, могилы, скорой помощи, землетрясения. Он не любил клятв: «чтоб я так жил», «чтоб я не сошел с этого места», «голову даю на отсечение». Он не прикуривал третьим, не дарил ножей, не здоровался через порог, а когда кто-нибудь при нем, наливая воду из графина, поворачивал руку ладонью кверху, он поднимал страшный крик, утверждая, что желают его смерти через удушение. Нельзя было просыпать соль на скатерть, нельзя было, выйдя из дому, вернуться за оставленным носовым платком, а можно было только дойти до дверей и попросить, чтобы его вынесли, но при этом обязательно сделать вид, что платок не забыт, а понадобился по внезапной нужде, иначе не удастся ни одно из задуманных сегодня дел. Все его существо, заключенное в объемистый сюртук, с руками, независимо засунутыми в карманы брюк, с золотой цепочкой поперек широкой груди, все его бранчливое философическое существо стремилось к покою и миру.

– Будь осторожен, – сказал он с отвращением, – венерические болезни не освобождают.

И он пробормотал:

– Не про меня будь сказано, не про тебя будь сказано, ни про кого не будь сказано, – как всегда, когда он говорил о неприятных вещах.

Я привык к этому шепоту с детства, к тому, что дедушкину речь всегда сопровождала тень невнятных бормотаний, которые он разбрызгивал по сторонам, как шприц дезинфектора.

Я пересчитал деньги и написал расписку. Дедушка раскрыл желтый скоросшиватель, пробил в расписке две дырочки и с наслаждением вздел ее на регистратор. Я должен был оставаться в комнате, покуда он вписывал расход в толстую счетную книгу, я должен был расписаться в графе «Сережина военная служба», где уже были статьи: «Гонорар полицмейстеру – 100 рублей», «Рувиму Пику – 4 р. 50 к.». Стоп! Все кончено. Можно идти. Дедушка посмотрел на меня с улыбкой добросердечия, которое образовалось в нем от занятия любимым канцелярским делом.

Я положил деньги в боковой карман, часть – в задний карман брюк для расчетов в ресторане – превосходный жест, рассчитанный на публику, часть – в кошелек: мелкие прихоти, нищие, тотализатор. Из бокового кармана я решил не брать денег вовсе, только в крайнем случае, – основной капитал компании, предназначенный для разгула. Восемьсот рублей – даже при нынешнем курсе на рубль это было целое состояние. А мне надо все его потратить на удовольствия. Потому что на совете с Кипарисовым было решено, что я должен *оттягиваться.* Нечего увеличивать царскую армию таким здоровым молодым хлопцем. Для моего ума и для моей молодости найдется довольно работы в тылу – Кипарисов обещал мне это. Но что это могло быть? Распространение прокламаций? Тайная типография? Начинка бомб динамитом? Кипарисов – и этому не мешал ни его линялый студенческий картуз, ни манера подвязывать больную щеку, так, что концы платка торчали, как ослиные уши, – сделался в моих глазах личностью еще более романтической, чем отец Саши Гуревича, господин Исидор Гуревич, генеральный консул республики Перу.

– Дедушка, – сказал я, – я иду *оттягиваться.* Я буду *оттягиваться* с Сашей Гуревичем. Я с ним вчера познакомился.

– С этим уродливым? – воскликнул дедушка. – Фу, какой он уродливый! Как его отец, которому я уже два года не подаю руки. Старик Гуревич хуже вора, он – убийца– Он прячет

хлеб и набивает оптовые цены. Я написал об этом господину президенту республики Перу, но он почему-то не ответил. Одна шайка. Они все из Бобруйска. Сережа, я тебе запрещаю *оттягиваться* с сыном шарлатана Гуревича. Знаю я, что это будет за *оттягивание!*

Он бросился в кресло, предвкушая, по-видимому, приятную беседу с бранью, попреками в неблагодарности, криками в пространство: «Ну как вам нравится это хамское отродье!» – крушением стаканов, компрессами на виски и для заключения – сладостным примирением в слезах и нежном шепоте, хорошую абрамсоновскую беседу, после которой в доме на три часа водворялись тишь и мигрень.

Но у меня не было времени.

С холодной вежливостью, тоном интендантского поручика, явившегося реквизировать хлеб для военных надобностей, я выразил удивление по поводу неожиданной задержки.

– *Оттягиваться,* – добавил я сухо, – означает: отощать, приобрести синяки под глазами, шум в сердце, трясучие руки. Разве вы не видите, дедушка, по ночам компании молодых людей…

(– Паршивцев! – вставил дедушка.)

– …бредущих из пекарни в публичный дом, по кабакам, по игорным клубам? Разве вы не знаете, дедушка, что тысячи мужчин портят себе здоровье…

(– Туда им и дорога!…)

– …специально, чтобы комиссии по приему в армию забраковали их, признали неврастениками, астматиками, косолапыми, близорукими, ненормальными?

В заключение я выхватил из всех карманов деньги, восклицая, что не могу ими пользоваться при отсутствии полного доверия и что ввиду этого вынужден обратиться к щедрости господина Исидора Гуревича, который, конечно…

– Ну, ну, кровь Иванова! – примирительно вскричал дедушка, уже ревнуя меня к Гуревичу.

В сущности, его дурное настроение происходило от зависти к отцу Гуревича, перуанскому консулу, за его удачные спекуляции хлебом, которыми дедушка пренебрегал в своей довоенной чистоплотности.

Внезапно он перестал меня видеть и принялся прилежно вычинивать карандаш, с наслаждением орошая свое массивное тело потоками лакированных стружек.

А я, поспешно запихнув деньги, побежал в кафе «Босфор», принадлежавшее греку Панайоти Параскева, обширное заведение с подачей пива и маленьким оркестром из пяти молодых женщин. Я пробежал первый этаж, не останавливаясь и зажмурив глаза по своему способу. Способ состоял в том, что глаза оставались широко открытыми, но фокус перемещался, так что все виделось неотчетливо, в тумане, как это бывает у близоруких. Никто не имел силы проникнуть сквозь этот туман, если я не хотел, и первый этаж кафе «Босфор» неясно бился на краю тумана широкими офицерскими погонами, запахом шашлыка, разносимого меж столиков танцующим грузином, мелодическим лязгом ножей, трудившихся над отделением котлеты от прожаренной косточки, – вся музыка и хирургия ресторана, заманчивый мир, который я страстно хотел назвать своим, но который отдалял от себя в юношеской заносчивости, и центр этого мира – дирижерша квартета, Тамара Павловна, женщина с голой и узкой, как тесак, спиной и растрепанными от музыкального усердия волосами.

В третий раз я приходил в заведение Панайоти Параскева и до сих пор только и знал в Тамаре Павловне, что эти растрепанные волосы да ослепительное лезвие спины, если не считать множества рискованных слухов, и будущее, пока я взбегал по скрипучей лестнице на второй этаж, мое волнующее будущее представлялось мне странной главой под названием: «Когда Тамара Павловна повернется».

На втором этаже стояли бильярдные столы. Треск шаров встречал меня уже на лестнице. «Промах», – говорил я себе, прислушиваясь к тупым ударам о борта. Попаданья я узнавал по

металлическому чавканию, с каким шар влетает в лузу. Иногда раздавался раскат, подобный театральному грому, и за ним взрыв смеха. Это шар вылетал на пол, и все веселились над неловкостью игрока. Мой слух изощрился до того, что там же, на ступеньках, я отличал глухое уханье шаров из мастики от благородного звона слоновой кости, и я уверил себя, что явственно узнаю в этой трескотне короткие властные удары Макса и женственные движения Мишуреса – двух чемпионов, которым я поклонялся, считая их великими людьми.

Рано еще. Наш стол пуст. Воздух заполнен дымом и взмахами киев. Я стал пробираться между столами, поминутно озираясь на дуплеты и крики: «Беру на аферу!» Игроки толкали меня локтями и задами, целясь в шары.

Я солгал дедушке, говоря, что знаю Сашу Гуревича. Он был вожаком одной из компаний оттягивавшихся. «Кладбище талантов», – сказала про Гуревича Катюша Шахова. Она взволновалась и не захотела больше говорить. Я поклялся узнать его. Он по телефону назначил мне свидание здесь.

Вокруг крайнего стола – толпа. Я с трудом протискался. Один из игроков обернулся и небрежным кивком ответил на мой почтительный поклон. Это Мишурес, король бильярда. Второй игрок, юный мрачный студент, был мне незнаком.

– Кто это? – спросил я у соседа.

– Пижон, – шепнул он, – выиграл три партии.

Я значительно кивнул, показывая, что мне знакома бильярдная терминология. Собственно, играть на деньги запрещалось. Но подкупленные маркеры смотрели на это сквозь пальцы. Я увидел, как Мишурес, проиграв четвертую партию, с притворным огорчением швырнул в лузу четвертной билет.

– Эх! – сказал он с видом отчаянного малого, прожигающего наследство. – Пропадать так пропадать! Идем на квит, коллега!

Студент покраснел. Видно было, что он считает Мишуреса безрассудным человеком и даже колеблется, удобно ли обыгрывать такого слабого партнера.

– Ну хорошо, – сказал он и прибавил, благородничая: – Пожалуй, я вам дам пять очков форы.

Мишурес отказался все с тем же видом человека, катящегося по наклонной плоскости. В толпе захихикали. Давно уже у Мишуреса, которого знал весь город, не было такого выгодного партнера. По-видимому, это был провинциал, приехавший в Одессу учиться, жирный помещичий сынок с чемоданом, набитым домашними колбасами, бельем голландского полотна, французскими книгами с подстрочным переводом, например: «Поль и Виргиния» или «История Карла XII».

Перед тем как начать партию, противники долго выбирали кии, подносили их к глазу, как подзорную трубу, взвешивали на руке, проверяя их прямизну и тяжесть. Наконец пижон сделал первый удар. Шар слегка коснулся правого угла пирамиды и, мягко отшатываясь от бортов, вернулся к игроку. Толпа зрителей наблюдала с угрюмой внимательностью. Правильный удар! А ну, что сделает Мишурес?

Мишурес занес кий угловатым движением наемного убийцы, словно собираясь проколоть шар насквозь, и вдруг погнал его в самый лоб пирамиды. Она с треском развалилась, и шары разбежались по полю, ставши у луз легкими и аппетитными приманками.

В толпе стали многозначительно перемигиваться. По правилам обыгрывания пижонов – пятую партию должен был выиграть Мишурес. При этом победа должна была прийти к нему с величайшим трудом, как бы случайно, вследствие исключительного везенья, возможного только раз в жизни.

Пижон тотчас бросился на легкие шары и сразу забил три верняка, набрав тринадцать очков. Он взволновался, и четвертый шар – жирные пятнадцать очков – от неблагоразумного удара вдоль борта застрял в самой стремнине лузы, он висел над ней.

Мишурес покривлялся немного, отчего студент запальчиво вскричал: «Беру на аферу!» – и положил пятнадцатый шар с треском. Класть верняки с треском – признак дурного тона, и Мишурес нарочно сделал это, показывая, что он щеголяет легкими шарами. В действительности же у него была другая цель – тайная цель «отыгрыша». «Отыгрышем», то есть искусством ставить свой шар, Мишурес владел, как никто.

От сильного удара свой шар отбежал в середину, где тоже стоял верняк, который Мишурес тотчас положил. Это было четырнадцать очков. Он притворился обезумевшим от радости и кинулся на третий шар, которого не забил.

– Такого шара промазали, – сказал студент с насмешкой.

Подобно всем игрокам, он склонял шар в родительном падеже, как живое существо, ибо ни один бильярдист не может заставить себя видеть в шаре неодушевленный предмет – так много в нем чисто женских капризов, внезапного упрямства и необъяснимого послушания.

Студент вдруг начал испытывать на себе это сложное и странное упорство шаров. Они отказывались падать в лузы. Напрасно студент щурил глаз, как стрелок, и вычерчивал на поле мысленные чертежи. Самые верные удары оказывались промахами. Студент отер лоб жестом отчаяния. Должно быть, ему казалось, что самая физика возмутилась – и угол падения вступил в конфликт с углом отражения. В действительности студент просто устал. Он начал ошибаться, не более чем на десятую миллиметра, – вполне достаточно, чтобы проиграть в этой тригонометрической игре. Мишуресу пришлось положить много труда, чтобы не разгромить партнера на первых ударах, а придать его проигрышу вид почетного поражения.

Потом король бильярда садически медленно упрятал выигрыш в карман. Впервые мне стало жаль студента. Зрители Деятельно перешептывались. Даже самому неопытному из нас было ясно, что теперь пижон пропал. Мишурес поселил в нем самую опасную из всех страстей – страсть отыграться. Чтобы потуже затянуть студента в западню, шестую партию Мишурес ему проиграл. Деньги вернулись к пижону на одно мгновение. Ослепленный, он погнался за ними в зеленые дали седьмой партии.

– Направо в середину, – сказал Мишурес и улыбнулся от удовольствия, что может играть не притворяясь.

Студент посмотрел на него с недоумением. Шар не падал. Можно было поклясться, что шар не падал. Трудность шара заключалась в том, что касательная удара была параллельна борту стола. Это было издевательство над механикой. Мишурес ударил, почти не целясь, с той женственной небрежностью движений, которая придавала его игре особенную красоту. Он срезал шар с остротой бритвы, без звука, и так сильно было ощущение отточенности, что глаза мои стали машинально искать на столе тонкий слоновый ломтик. Впрочем, знатоки тут же зашептались, уверяя, что шар положен без прикосновения, одним действием воздушного тока.

На блеск этого удара сбежались игроки от дальних столов. Кругом повставало множество людей, запачканных мелом, без пиджаков, с киями на плечах, с глубокомысленным выражением лица. Подошла группа педерастов, содержанцев банкира Жданова, красивых юношей в элегантных костюмах; покачиваясь на прекрасных ногах, они вполголоса обсуждали игру, перемежая это занятие понюшками кокаина из маленьких стеклянных трубочек.

Какой-то офицер в расстегнутом кителе, с неестественно стройной талией, вызывавшей мысль о корсете, воскликнул:

– Это просто замечательно! У студентика полный мандраж!

Вглядевшись в офицера, я узнал в нем поручика Третьякова, знакомого мне по газетным фотографиям.

– Мандраж! Мандраж! – закричали всюду.

Пижон затрясся и еще неряшливей затыкал кием.

Он действительно впал в ту крайнюю растерянность сил, которая называется у бильярдистов мандражем. Самое время бросить кий. Но вместе с мандражем приходят к игроку слабоволие и тщеславие. «Брось! – мысленно шептал я. – Я приказываю тебе бросить!»

Студент стал мне вдруг симпатичен. Я заметил, что у него стоптанные башмаки и штаны с бахромой. Нет, он не помещичий сынок, он, должно быть, репетитор, бегает по урокам на край города, восторженный, бедный, содержит семью. А деньги у него непременно чужие, может быть, из кассы землячества. Я мысленно видел слезы, позор, дуло револьвера, и я еще сильней зашептал: «Брось!»

Мишурес тем временем пустил в ход все свои приемы: «оттяжку» – страшный удар под самый низ шара после чего шар бежал обратно к Мишуресу, как натасканная собака; «француза» – удар в бок шара, отчего он начинал вращаться, как балерина на носке, не сходя с места; «от трех бортов в угол»! – когда шар летел через весь бильярд и падал в дальнюю лузу, предварительно описав целую серию равнобедренных треугольников.

Мишурес работал молча, деловито и ослепительно. В три минуты он сделал сухую и выгреб из лузы кучу смятых кредиток. Я боялся посмотреть на студента.

– Господин Мишурес, – услышал я его низкий, болезненно напряженный голос, – отдайте мне, пожалуйста, деньги. Я вам их верну через несколько дней. Это чужие. Пожалуйста, я вас умоляю.

– Господин студент, – сказал Мишурес, – приведите с собой няньку, и она будет смотреть, чтобы вы не проигрывали чужие деньги. Пожалуйста, я вас умоляю!

Он очень удачно передразнивал виолончельный голос студента. Кругом засмеялись.

Мишурес самодовольно улыбнулся. Он решил доставить публике удовольствие.

– Ой, уже восемь часов! – сказал он с притворным испугом. – Уже мамочка беспокоится, где ее сыночек. Господин студент, бежите быстро домой!

В толпе помирали со смеху. Но студент ничего не слушал.

– Отдайте мне, пожалуйста, отдайте! – жалобно басил он. – Я должен их отдать, я больше никогда не буду играть.

Студент стыдно и жалко плакал. Обнажилась его шея, худая, как у недоедающих. Мне стало безумно жаль его. Я угадал в нем брата по застенчивости, по страсти. Ах, если бы я мог ударить кулаком по столу и крепко выругаться! Если б я мог схватить Мишуреса за плечи и трясти его, пока он не отдаст награбленных денег! Почему меня научили боксу и не научили, как не быть робким! «Схватить или нет? – мучительно соображал я. – Схватить или нет?»

В это время, раздвигая толпу сильными руками, в круг вбежал юноша с развевающимися черными волосами, рябой и смеющийся. Он одет поношенно, но изящно, подобно сказочным принцам, чьи лохмотья не могут скрыть их благородного происхождения.

– Мишурес! – крикнул он, остановившись. – Вы опять принялись за свои штуки? Моментально отдайте деньги!

Мишурес расстегивает пиджак и закладывает руки в карманы. При этом вызывающе обнажается его выпуклая, под свитером, грудь, огромная и вульгарная диафрагма.

– Серьезно? – говорит он. – Здравствуйте, господин защитник. Как поживаете?

Но юноша не дослушивает его. Он поворачивается к студенту и отрывисто спрашивает:

– Сколько вы проиграли? Двести пятьдесят рублей? Так. Чужих? Так. Должны завтра отдать! Так! Так!

Он внимательно выслушивает студента, пронизывая его плачущую речь своим телеграфическим таканьем.

– Перестаньте реветь, – говорит юноша, – деньги вам будут возвращены. Что? Ручаюсь. Не целиком, конечно. Половина.

И неожиданно с обольстительной улыбкой:

– Ведь он тоже поработал, не правда ли?

И обращаясь к Мишуресу:

– Скорее, деньги!

– Нет, кроме шуток, – говорит Мишурес, – ты вырвался из сумасшедшего дома или тебе моча в голову ударила?

– А-а! – закричал юноша, и хохот кругом разом прекратился.

Юноша скрестил руки на груди и оперся о бильярд.

– Спокойно, снимаю! – закричал Мишурес и, сложив из пальцев фигу, сделал вид, что фотографирует. Но кругом не смеялись.

– Не выводи меня из себя, – сказал юноша холодно, – не выводи меня из себя, Мишурес! Околоточный внизу. Если я сейчас не увижу денег, тебя возьмут. Ты меня знаешь, Мишурес.

Тишина. Юноша топнул ногой. У него обнажились крайние зубы, видные только у волков.

– Ша! – испуганно сказал Мишурес. – Не подымай скандал. В чем дело? Разве я говорю «нет»?

Но юноша уже рвал у него из рук деньги. Он бросил студенту комок кредиток:

– Считайте!

– Сто двадцать пять, – сказал студент, глядя на юношу обожающими глазами.

– Ладно, идите, – сказал юноша и беспечно махнул рукой, – и больше чтоб сюда ни ногой!

Потом он повернулся и стал внимательно оглядывать окружающих. Многие подходили к нему, пожимали руку и восхищенно трепали по плечу. Вдруг юноша увидел меня.

– Кажется, – сказал он, – вы Сережа Иванов?

Он улыбался своей обольстительной улыбкой и тряс мне руку.

Я молчу, ничего не понимая.

– Мы должны были здесь встретиться, – добавляет он.

– Ах, – говорю я и счастливо бледнею, – вы Саша Гуревич?

Он радостно кивает головой.

– Позвольте вас познакомить, – говорит он, – Клячко, Завьялов, еще один Клячко, Беспрозванный. Вся наша банда.

Четверо студентов кланяются мне с угрюмой поспешностью.

– А я, – говорит Гуревич и фамильярно схватывает под руку меня и ближайшего из Клячко, – исчезаю. Небольшое дело. Вы пока тут потолкуйте. Через полчаса я вернусь, и мы обсудим вопрос, куда нам пойти сегодня ночью прожигать свою молодость.

Он засмеялся и убежал.

Мы, пятеро, с неловкостью топчемся на месте.

Маленький Беспрозванный внезапно обращается ко мне:

– Война скоро кончится?

Я искоса смотрю на него, чтобы узнать, серьезно ли он спрашивает. У Беспрозванного хитрое, непроницаемое лицо.

– Война, – говорю я, – кончится не раньше, чем народы поднимут восстание против своих владык.

Мне досадно, что эта фраза вышла такой книжной. Ее туманная напыщенность не идет к стуку шаров. Припоминая уроки Кипарисова, я пытаюсь растолковать Беспрозванному экономический механизм войны.

– Война империалистическая, – наставительно заканчиваю я, – должна превратиться в войну гражданскую.

Беспрозванный молчит. По забавной торжественности его лица я догадываюсь, что он ровно ничего не понял.

– Ну да, – говорит он с важностью, – война продлится еще очень долго, так я и думал. Хорошо, что я начал оттягиваться.

И он прибавляет с хвастливостью:

– Я спустил уже десять фунтов. Это довольно трудно. Нужен режим. Сильная воля.

– А они? – говорю я и киваю в сторону обоих Клячко и Завьялова, затеявших американку.

Беспрозванный пренебрежительно пожимает плечами:

– Тоже люди! У них ни черта не выходит. Очень слабо. Ведь вы знаете, что оттягивается только один Клячко. А другой – белобилетник. Но он всюду ходит за братом и следит, чтобы тот не спал и не ел. Он у него вырывает куски изо рта. А сам лопает. Но он тоже человек. Иногда он засыпает, и тогда младший брат бежит в ночную пекарню и жрет бублики. Они вечно ссорятся.

– А Завьялов? – говорю я.

Беспрозванный опять пренебрежительно пожимает плечами. Положительно, он всеми недоволен!

– Завьялов – дурак! – говорит он. – Ты себе можешь представить, ведь он был на медицинском факультете!…

Беспрозванный в волнении откидывается на спинку стула. Я тоже откидываюсь на спинку стула, ошеломленный главным образом неожиданным переходом на «ты".

– У него нервы слабые, – насмешливо говорит Беспрозванный, – он не может слышать про анатомию, про кишки. Когда он узнал о строении человеческого тела, с ним сделался обморок. Он не смог вынести разговоров о тонкости сосудов, о сердечной мышце, об ишиасе, о табесе. Он сказал, что гораздо легче видеть смерть на фронте, чем копаться в ней ежедневно с микроскопом в руках. И он ушел с медицинского факультета. Видал такого дурака?

Я с любопытством посмотрел на Завьялова, испугавшегося сложности своего организма. Действительно, в нем была какая-то расслабленность; нижняя губа его отвисает; вспоминая, он подтягивает ее и испуганно озирается. У обоих Клячко низкие лбы и убегающие подбородки. Они похожи друг на друга животным сходством: как кролики, как мыши. Уже между собаками такого сходства не бывает.

Я смотрю на других, на всех, кто здесь, в бильярдной. Я вижу узкие лбы дегенератов, носы, разъеденные кокаином, плеши, похожие на гниение. Глаза мои делаются страшно зоркими. Рожи! Рожи кругом!

– А Гуревич? – вскричал я.

– Гуревич? – пробормотал Беспрозванный. – А, это умница! Очень начитанный. У него дома целая библиотека. Он редко бывает дома. Поссорился с отцом. Тот его выгнал. Говорят, из-за горничной. Владеет несколькими языками. Все знает. Ловкач! Ты видел, как он разделался с Мишуресом?

– Да, да, – говорю я, – здорово! Как он не боялся?

– Боялся? – говорит Беспрозванный. – Чего ж бояться? Э, да ты ничего не знаешь. Я тебе расскажу. Гуревич у Мишуреса в доле. Это все заранее решено. Ну как ты не понимаешь? Контора. Мишурес ловит пижона. Обыгрывает его. А чтоб не было скандала, появляется на сцене Гуревич, разыгрывает из себя благородного защитника и заставляет половину денег отдать пижону. А потом оставшейся половиной Гуревич с Мишуресом делятся. Они недурно зарабатывают.

Я не успеваю ответить. Перед нами вырастает Гуревич. Он озабоченно смотрит на часы и говорит:

– Джентльмены! Надо решать, куда мы сегодня идем. Маскарад, клуб или заведение Марьи Ивановны?

Я смотрю на Гуревича с ужасом.

5

Через полчаса после знакомства с Гуревичем меня поймали на том, что я во всем ему подражаю.

Гуревич пообещал мне, что я похудею:

– Через неделю ты себя не узнаешь, Сережа. Люди будут думать, что ты рожден не мужчиной и женщиной, а циркулем и линейкой.

В характере Гуревича было выражаться причудливо. Это меня восхищало.

– Почему бы тебе не стать писателем? – убеждал я его.

– Я кладбище талантов, – ответил Гуревич с выражением разочарования на своем юном лице.

– Ты знаешь Катюшу Шахову! – вскричал я ревниво, вспомнив, что это же говорила мне Катя,

Саша покраснел и ничего не ответил«

Через пять минут он начал мне мстить.

– Я знаю, – сказал он, – ты идейный, ты, наверно, мечтаешь о карьере заговорщика. Ну, скажи, какая твоя профессия?

Я мечтал о многих профессиях. С пятнадцати лет последовательно мне хотелось стать путешественником, солдатом, купцом, стивидором, международным авантюристом (вроде Калиостро), астрономом, социалистическим агитатором, адвокатом.

Особенно адвокатом. Я долго верил в свой ораторский талант. Эта вера основывалась на тех удивительных речах, которые я произносил. Случалось, что я произносил в день по шесть-семь речей. Скоро я уже считал себя профессиональным оратором, разумеется воображаемым, потому что все эти речи я произносил совершенно беззвучно, мысленно, изредка только, в самых патетических местах, позволяя себе шевелить губами, так что бабушка, услышав неясный хрип, исходивший из моей груди, предлагала мне теплого молока с сахаром, не подозревая, что этот хрип соответствовал наиболее возвышенным местам речи. Я набросился на речи Карабчевского, Плевако, Цицерона и кончил тем, что увлекся латинским языком.

– Я хочу быть филологом, – сказал я, подумав.

– Профессия – это возраст, – разразился Гуревич, – моряк всегда юноша, филологи – старики. Но ты врешь – ты идейный, ты состоишь в социалистическом кружке под предводительством этой старой девы – Кипарисова.

Даже когда я оставался один, в ушах моих звучали тирады вроде: «Смысл жизни в красоте. В красоте и наслаждении. Все остальное – ерунда с маслом. Кипарисовский социализм – это слюнявчик для младенцев».

Кто это сказал? Гуревич? А может быть, так говорил Заратустра?

Ницше стоял на Сашиных полках вместе с Оскаром Уайльдом и Максом Штирнером. Я с жадностью читал эти книги, и бедная голова моя стала пухнуть от эстетизма, индвидуализма, скептицизма и мистики.

Когда через несколько дней ко мне пришел Кипарисов с очередным списком книг по самообразованию (отдел: политическая экономия, разряд: натуральное хозяйство), я убежал черным ходом, передав через испуганную бабушку, что меня нет дома.

До призыва в армию оставалось всего десять дней, и Гуревич выработал для меня особый, ускоренный курс оттягивания. Мне приходилось делать все вдвое. Норма черного кофе была для меня увеличена до шести стаканов в сутки. Норма сна уменьшена до четырех часов. Я не смел прикоснуться к пиву и к сахару. Молоко и тесто были изгнаны из моего обихода. Я ел блюда острые, мы питались исключительно в греческих и грузинских ресторанчиках, где нам раскрыли всю горечь перца и всю кислоту уксуса. Везде я таскал за собой груз сонливости и

аппетита. Меня нельзя было оставить одного: я тотчас засыпал, подложив локоть под щеку, счастливо улыбаясь. Меня будили швейцары на ступеньках лестниц, университетские сторожа, чистильщики сапог, дедушка, кондуктора трамваев.

С необузданностью человека, рожденного повелевать, Гуревич взялся перекроить всю мою физическую природу. Он клялся, что иссушит мои почки и разболтает сердце.

– Аорта! – кричал он. – Аорта у тебя слишком здоровая! Бык! Грубиян!

Он поминутно вытаскивал из кармана руководство для ротных фельдшеров, где был приведен перечень всех увечий и язв, освобождающих от военной службы. Я беспрекословно нюхал кокаин и глотал лимоны. Кокаин плохо действовал на мой организм стайера. К тому же эпоха фальсификации сказалась и здесь: продавцы всучивали нам под видом наркоза бертолетову соль. Гуревич был недоволен мной. Оглядывая мои румяные щеки взглядом ломбардного оценщика, он говорил:

– Почему ты не худеешь? Ты слишком весел, Сережа. Это веселость бездарного человека. Ты не задаешься проблемами. Старайся думать о смерти, о банкротстве Абрамсона. Почему бы тебе не задуматься о загробной жизни, о проблеме двойного существования? От этого худеют. Ты видел когда-нибудь толстого мистика? Человек с интеллектом не может быть толстым. Наполеон начал делать глупости с того момента, как потолстел. С жиром к человеку приходят тупость, спокойствие. Прогресс делают худые. Толстяки – балласт человечества. Мне это только что пришло в голову, но это дельная мысль. Постарайся ее развить, может быть, ты от этого похудеешь. Составь биологическую формулу соотношения между гением и весом гения, вспомни комплекцию всех великих людей, постарайся разыскать их меню. Дарю тебе эту мысль. Но нет,ты слишком бездарен. Я начинаю терять надежду на то, что ты когда-нибудь похудеешь. Придется принять другие меры. Ты не знаком еще с Тамарой Павловной?

Сам Гуревич был тощ, но плотен, широк в кости. У него были изогнутые тонкие брови, похожие на полет птицы, и под глазами – лиловые тени, которые при его молодости придавали ему вид философа или кутилы. Он был всегда охвачен страстью удивлять и распоряжаться. Я думаю, что таким был Дантон или Бетховен, на которых Гуревич походил своим рябым, курносым и стремительным лицом. Он выражался далеко не с той чистотой, как Кипарисов, не так умно, не так честно, – я это понимал. Часто, расставшись с Гуревичем, один в прохладе ночных улиц, я возобновлял наши сумасшедшие споры, и тут я с легкостью находил неотразимые доводы, которые жили только до утра, до новой встречи с Гуревичем.

Мало-помалу я стал верить, что галстук и носки должны быть одного цвета, что политическая экономия – это скучная материя, что в театр по билетам ходят только дураки, что величайший поэт современности – Игорь Северянин, что водку нужно пить стаканами, что любовь – это глупость, спорт – тоже глупость и идейность – глупость, что дедушка прикарманил деньги моего покойного отца, что самое главное – это красота, но ее чертовски мало в жизни. Я перенял все убеждения Гуревича, все его вкусы и менял их так же часто, как он сам.

Представляясь Тамаре Павловне, я не посмел посмотреть на нее: оглушительный горловой смех, ямайская смуглота лица и серьги до плеч смутили меня. Никто не занимался модами в 1916 году, и на Тамаре Павловне была новинка: «июль 1914 года», последнее изобретение мирного времени – платье «тальер». Там внизу был разрез до колена, из него все время, как артист на вызовы публики, выступала нога Тамары Павловны, высокая, полная, белая.

Должно быть, Тамара Павловна подумала обо мне, что я очень горд, потому что я вовсе не разговаривал с ней, а только рассматривал альбомы с фотографиями, придавая себе вид рассеянный и пресыщенный. В альбомах было много военных: летчики в черных беретах, адъютанты, которых нетрудно было узнать по аксельбантам и отсутствию боевых орденов, молодые генералы из штабных с порочным благообразием лица, и сама Тамара Павловна там была в кителе с офицерскими погонами, с хлыстом, один раз даже в бурке, которая не смогла скрыть очертаний ее фигуры.

Некоторые карточки были испещрены надписями. «Все проходит, любовь остается. Николай». «Кошечка, не забывай о своем котике Мише. Полковник Бальц». «Лучшие песни – неспетые песни. Штабс-капитан 213-го феодосийского полка Мирончук». Попадались в альбоме засушенные цветы, счета от шляпниц, пряди волос, порошки фенацетина от головной боли, листки из календаря, сохраненные ради полезных сведений: «Как вывести чернильные пятна с паркетного пола», «Питание беременной женщины», конверты со штемпелем «Действующая армия», надорванные небрежной и страстной рукой. Иногда тянуло духами, нежными, как юность. Угадывалась жизнь неряшливая, блестящая, с поздними вставаниями, с окурками в стаканах, с несуществующим женихом на передовых позициях, с криками: «Ах, какой вы бесстыдник!» – с наемными автомобилями, ликером, тянучками, бесконечными абортами. Ах, как я хорошо все знал "это по тысяче книг, прочитанных с двенадцатилетнего возраста! Куда мне деваться от скуки начитанного мальчика!

Гуревич, Завьялов и маленький Беспрозванный затеяли «железку» в углу за китайским столиком. Они играли, не обращая внимания на хозяйку. Изредка слышались угрюмые восклицания: «Анкарт. Повторяю пять рублей. Мажу десять». Оба Клячко дремали на диване.

– Вы внук Абрамсона? – сказала Тамара Павловна и положила руку мне на колено.

Я вижу ее лицо в ошеломительной близости. Зрачки, расширенные белладонной. Заштрихованные под-глазники. Улыбка. Но эта улыбка, безошибочно поражающая на расстоянии, оказывается совершенно безвредной вблизи, как бацилла, попавшая под микроскоп. Я различаю в ней доброту, притворство, скверную помаду и очень много усталости. Рука на колене жжет, как горчичник.

– Ого, да вы с характером! – сказала женщина в нос. – Вы мне нравитесь, хотя видать, что вы страшный задавака.

– Он филолог, – отозвался Гуревич от карт, насмешливо ударяя на последнем слоге, – он филолог, его женщины не интересуют, он сам баба. Он как латинские исключения, по окончанию – мужского рода, а по значению – женского.

Я сидел неподвижно. Я молчал. Я облек себя в таинственную задумчивость, в тоску натуры мрачной, но возвышенной. Мне повезло. Тамара Павловна растрогалась и заинтересовалась.

Но Гуревич, который отлично понимал меня, заявил:

– Тамарка, не будь растяпой! Он просто боится тебя. Он малохольный. Ущипни-ка его пониже поясницы!

И он удалился, поцеловав руку возмущенной Тамаре Павловне и взяв у меня сорок рублей (в последнее время он это делал часто). Все ушли за ним. «Ну вот, – сказал я себе, – ты ждал этого. Отчего же ты сидишь как оболтус? Действуй! Она ждет тебя. Тамара Павловна повернулась».

Она придвинулась. Я чувствую жар ее тела, доброту этой кожи, умащенной патентованными кремами. Но беспощадная трезвость вдруг овладевает мной. Я замечаю капельки липкого пота на ее ищущей руке. Штопку на шелковых чулках. И – грубую ложь ее рассказов. Она говорит без конца, болтливая женщина! Чувства мои утончаются, доходя до неслыханной остроты, а она рассказывает мне бог знает что, чушь, вычитанную из бульварных романов, – о своем графском происхождении, о муже, польском магнате, тоскующем по ту сторону фронта. Судебный следователь не дал бы ни гроша за этот рассказ, где все документы оказывались утерянными, свидетели – за границей, где слишком много кораблекрушений и пошлых анекдотов. Рассказывает мне, воспитанному на тонкостях французской литературы, поклоннику Стендаля, йогов, психоанализа! Я посмотрел на нее с насмешкой, чувствуя свое превосходство книжного человека над безграмотным существом. В это время она распахнула халат, и я пал к ней на грудь, бормоча извинения и клятвы, и, падая, успел удивиться: где же ее белье?

Был момент резкого счастья, такого короткого, как будто его вовсе и не было. Я встал и удивился себе такому, каким я был секунду назад. Она нежилась на диване. Мне захотелось от ее улыбок и мягкости, полумрака и шепота – к делу, к воздуху, к твердости мужской руки, к твердости мужского разговора. Я вспоминаю о той, которую люблю, и мне делается стыдно. «Чистота! – думаю я с тоской. – Сестра моя, чистота!»

Я пошел к выходу, едва попрощавшись. Тамара Павловна побежала за.мной.

– Сереженька, – сказала она в дверях, – мне предлагают чудесный флакон настоящего «коти». Редкий случай…

Я смутился и дал ей сторублевую бумажку. Дал, почему-то таясь, как врачу. Она разгладила кредитку и довольно улыбнулась.

– Прощайте, Тамара Павловна, – сказал я с возмущением, – больше мы не увидимся.

– Придешь, – сказала она беспечно, – придешь, милый, всегда в первый раз так бывает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.